

Илья Штемлер

АМЕРИКАНСКИЙ ЭКСПРЕСС

по мотивам повести-документа
«Breakfast зимой в пять утра»



проект
КНИЖНОЙ ЛАВКИ ПИСАТЕЛЕЙ
серия ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ

Илья Штемлер

АМЕРИКАНСКИЙ ЭКСПРЕСС

(по мотивам повести-документа
«Breakfast зимой в пять утра»)



СТРАТА
Санкт-Петербург
2017

УДК 82-3
ББК 84-4
Ш89

Штемлер И. П.

Ш89 АМЕРИКАНСКИЙ ЭКСПРЕСС / Илья Штемлер. — СПб.: Страта, 2017. — 190 с., — (серия «Приключения писателей»)

ISBN 978-5-9909969-1-5

«Американский экспресс» создан по мотивам путевой повести «Breakfast зимой в пять утра», ставшей итогом путешествия автора из Нью-Йорка в Калифорнию по железной дороге.

На страницах книги описаны встречи с колоритными пассажирами американского поезда, переплетенные с лирическими эпизодами из жизни автора, его друзей и близких, дорожными зарисовками, историческими заметками о Соединенных Штатах и любопытными лаконичными рассказами об отдельных американцах и русских эмигрантах в США, очень точно и ярко характеризующими разницу в мироощущении тех и других.

Все права защищены. Никакая часть настоящей книги не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, а также размещение в Интернете, если на то нет письменного разрешения владельцев.

All rights reserved. No parts of this publication can be reproduced, sold or transmitted by any means without permission of the publisher.

УДК 82-3
ББК 84-4

ISBN 978-5-9909969-1-5

© Штемлер И. П. текст, 2000
© «Страта», 2017

*В связи с ранним прибытием в Лос-Анджелес
просьба к пассажирам I класса
явиться на завтрак в 5 утра.*

(из текста)

*Америка, сэр, такая большая,
что у каждого — своя Америка.*

(из текста)

*Удивительная страна Америка — здесь даже
нищие говорят по-английски.*

(из текста)

Пен-стейшен

Пенсильванский вокзал размещен в районе Седьмой авеню и Тридцатых улиц Нью-Йорка. Мое привычное представление о «каменном торте» вокзальных зданий, этих аляповатых ампирных громад, было посрамлено — Пен-стейшен вообще закинут в подвал. В подвал знаменитой спортивной арены Медисон-сквер-гарден...

Вокзал валился в преисподнюю эскалаторами и широченой лестницей. Людей, обремененных громоздким багажом, я не видел, в путь отправлялись налегке. А что перевозить? Все, что было здесь, есть и там — возить нечего.

Анфиладу просторных, как площадь, помещений занимали декоративные стилизованные повозки на колесах со стрельчатыми спицами и металлическими ободами. Груженные всевозможными товарами: бижутерией, сувенирами, дорожной снедью, всякими вкусоностями. Кто только тут не продавал свой товар — индусы, китайцы, японцы, малайцы, белолицые...

Компанейские по интерьеру, «невокзальные» ресторанчики, кафе, бары, книжные магазины, банкоматы, почтовые пункты... Славные с виду молодые люди в крахмальных сорочках, отмеченных дирижерскими «кисами», в ожидании клиентов топтались подле высоких черных кресел с подставкой для ног — чистильщики обуви... И никакой толчеи — просторная площадь всех рассеивала...

В своем сером плаще я, вероятно, кажусь представителем бездомного племени «хомлес», человеком «без прописки», все богатство которого умещается в одном чемоданчике. Конечно, я лукавил, я точно знал, что никто не обращает на меня внимания, я такой же, как и все, а со своей седой шевелюрой так даже и представительнее многих. Я сейчас о другом: иногда — не часто, но иногда — я физически чувствую, что я из Рос-

сии. Странно. Возможно, оттого, что я сам безошибочно узнаю во встречаемых своих земляков, отличаю по какому-то «российскому шарму». И проецирую этот «шарм» на себя, как сейчас, в этом подземном вокзале.

Мой маршрут сложный: Нью-Йорк — Чикаго — Лос-Анджелес — Салинос. А там еще часок на машине до Монтеррея, под крышу дома дочери... «Зачем тебе это? Терять трое суток, — недоумевали друзья. — Глупость! Самолет домчит тебя за пять часов напрямую, до Сан-Франциско, а оттуда до Монтеррея рукой подать. И поездом в два раза дороже. В Америке не принято ездить поездом на далекие расстояния, только если особые обстоятельства. Ты будешь в вагоне один...»

Я пожимал плечами. Что в Америке не принято, я приблизительно знал, не в первый раз перелетаю через океан. А поезд выбрал, чтобы поглазеть из окна вагона, тем более есть специальные салоны со стеклянными стенами, для обзора. Нет, не такой уж я простак...

Дневной экспресс из Нью-Йорка до Чикаго целиком состоит из «сидячих» вагонов. Зато из Чикаго до Лос-Анджелеса, в вечернем поезде, меня дожидается отдельное купе первого класса в спальном вагоне...

Пустой вагон ощерился рядами кресел с вытянутыми в лобопытстве спинками. Места не нумерованы, выбирай на вкус. Закинув чемодан на багажную полку, я подсел к окну.

Следом за мной вошла стайка пассажиров: две старушки, божьи одуванчики, ярко подрумяненные лица которых выражали неукротимую жажду жизни. За старушками шаркал высокий, «деревянного» склада старик, похожий своим острым, длинноносим профилем на президента Авраама Линкольна. Молодая негритянка держала под мышкой пацана, точно свернутый коврик. Малыш тарачил глазенки и улыбался. Следом, посвистывая, протиснулся парень, птичья голова которого пряталась в огромные пухлые наушники. В руках он держал лыжи. Видно, его путь в Колорадо, к снегам. Стайку замыкал кондуктор — плотный черный дядька в ладной униформе с тяжелой связкой ключей на поясе.

— Что-то сегодня много пассажиров. — Хриплый голос кондуктора напомнил знаменитый тембр Луи Армстронга. — В прошлый раз мы выехали с тремя. Думал, пора закрывать дорогу.

— Ничего. В Пенсильвании набегут, — компетентно заверил «Линкольн».

— Самое время отправляться амишам в Техас, — общительно пискнула одна из старушек.

— Амиши, да, — согласился кондуктор. — На амишей только и надежда.

— Амиши свое дело знают, — поддержала беседу вторая старушенция и чихнула. В ответ на дружное «Блэс ю!» сказала, мило улыбаясь, что не надо беспокоиться, она не больна, а чихает от перемены мест и еще от волнения, что едет к своему папе, погостить.

Я представил себе этого папу. Должно быть, ему лет сто, не меньше...

В отдалении захлопнулась автоматическая входная дверь. Предметы на платформе потянулись назад — мы поехали, плавно, словно в масле.

Кондуктор принялся проверять билеты.

Взяв мой, он проговорил с уважением:

— Мистер до Чикаго.

— Мистер до Лос-Анджелеса, — поправил я. — С вами до Чикаго. Там пересадка.

На каждый маршрут выдавался специальный билет, «лос-анджелесский» я положил отдельно, на всякий случай.

— Мистер, вероятно, очень состоятельный человек, — пошутил кондуктор. — Иначе бы он летел в Лос-Анджелес самолетом.

Я со значением улыбнулся.

Кондуктор пробил компостером мой билет и сунул его в щель багажной полки, где билет торчал голубым флажком, — теперь каждый мог подойти и узнать из любопытства, куда направляется пассажир, сидящий под флажком...

Поезд катился вперед, пересчитывая светильники туннеля. Жаль, что в вагоне не слышен серебряный перезвон колокола, предупреждающего о приближении поезда. Обычно колокол звучит в туннеле или на подходе к станции — ритуал, сохранившийся со времен освоения Дикого Запада. Туннель закончится далеко за Гудзоном, в другом штате, на далекой окраине славного города Джерси-Сити. В этом городе живет моя жена, многие родственники жены, тут жила моя дочь до переезда в Калифорнию. И, в конце концов, тут живу я сам, когда при-

езжаю в Америку. Не раз я слышал здесь серебряный звук колокола, выплывающий из черного зева туннеля...

А пока надо мной пластался Нью-Йорк, а точнее, вздыбливался к небу. Город-Мир, город-Вселенная. Попав впервые в этот город, я испугался, физически испугался. Это произошло в 1970 году, когда я, советский турист, возвращаясь из Мексики с чемпионата мира по футболу, задержался на сутки в Нью-Йорке: что-то случилось с самолетом. Целые сутки — без сна — я бродил по Нью-Йорку, не веря сам себе. Букашкой ползал в ногах небоскребов. Запах Гудзона сравнивал с запахом Ист-ривер, другой реки, обрамляющей Манхэттен. Тарашил глаза на Линкольн-центр, жевал банан у Рокфеллер-центра, столбенел от реклам Таймс-сквера, приходил в себя от жары в прохладе трехсотсосьмидесятиметрового Эмпайр-стейт-билдинга. Замирал от буйства каменно-архитектурной роскоши Гранд-Централа, старого железнодорожного вокзала — великолепного образца неоклассицизма, в самом центре города, на Парк-авеню...

И вдруг, среди этого могучего приборя из бетонно-стеклянных громад, фантастических мостов, магазинов, памятников, музеев и театров, круглосуточно сияющих реклам, сабвея со своим особым подземным миром, красочной разноязычной людской толпой, возникла главная достопримечательность города, его «Кремль» — Центральный парк...

В 1857 году мэр Нью-Йорка одним выстрелом убил двух зайцев — успокоил безработных крикунов-ирландцев, баламутивших город, и начал обустройства дикий север Манхэттена, обещая горожанам отдых и развлечения. Рабочие-ирландцы взяли за инструменты и отправились на заработки в северную часть Манхэттена, в ап-таун... Двадцать лет строили Центральный парк, двадцать лет!

Я частенько заглядывал в парк — мой приятель-американец жил напротив, в знаменитой «Дакоте», первом многоквартирном доме, построенном в 1884 году. Темно-желтый фасад дома, состоящего из нескольких блоков под остроконечными крышами, со своими эркерами, коньками, мансардными окнами, балконами повидал за свою жизнь много знаменитостей. Леонард Бернстайн написал здесь «Вестсайдскую историю». Здесь жил Джон Леннон, один из четырех знаменитых Битлов. Его пристрелил фанатик у крытого перехода, неподалеку

от барельефа с изображением головы индейца, венчающего главный подъезд дома...

Признаться, я никогда не пересекал весь парк и не знаю, много ли найдется любителей прошвырнуться от Пятьдесят девятой улицы до Сто десятой. Не потому, что далеко, — в дороге много соблазнов. Стоишь и решаешь: как «вкуснее» пройти, скажем, от пруда — левым берегом, откуда открывается панорама армады небоскребов, словно растущих из гущи деревьев, или правым берегом, по аллее, проложенной в скалах и поросшей диковинным кустарником, между склоненными к зеленоватой воде высоченными деревьями. Когда разговор заходит о Нью-Йорке, я вспоминаю Центральный парк, потом уже все остальное.

Поезд уносил меня от Нью-Йорка с приличной скоростью — автомобили на параллельном шоссе заметно отставали, а американским водителям, как известно, лихости не занимать, тем более на хайвее.

Я вполне освоился в вагоне, мне тут нравилось... Кондуктор положил на подлокотник кресла плед в целлофановом пакете и подушку.

— Признаться, сэр, я никогда не был в Лос-Анджелесе, — с доверительной хрипотцой в голосе проговорил он. — Говорят, там качается земля и жить очень опасно.

— Проверим. — Я принялся разминать подушку.

— А еще я слышал, в этом Лос-Анджелесе много геев.

— Гомосексов? — уточнил я.

— Вот-вот, — кивнул кондуктор. — Говорят, Лос-Анджелес — столица таких парней.

— Проверим, — повторил я и засмеялся.

Засмеялся и кондуктор, показывая прекрасные зубы из-под пухлых лиловых губ: белые, крупные, ровные — предмет моей зависти.

Кондуктор отошел, оставив мне хорошее настроение. Вспомнился забавный случай. Бывший мой земляк Корабельников пригласил меня к себе «на ранчо», в трех часах езды от Нью-Йорка, в предгорье Аппалачей. Поутру мы пошли на речку, поглядеть, если повезет, как форель пытается пройти валуны вверх по течению, благо речка текла чуть ли не у самого порога дома. Неожиданно из леса появился мужчина средних лет в болотных сапогах. Вязаная шапчонка от-

крывала его широкое улыбочивое лицо, засиженное веснушками. Это был Шон, ирландец, ближайший и единственный сосед Корабельникова. Тот представил меня Шону, сказал, что я приехал погостить из Нью-Йорка. Шон протянул мне широкую ладонь.

— Я знаю Нью-Йорк, — сказал он по-свойски. — Был раз, с отцом. Гусей там видел... А что, гуси там еще до сих пор бродят?

— Как вам сказать? — ответил я уклончиво. — И отцу гуси понравились?

— Не помню, — вздохнул Шон. — Отец умер. Замерз в лесу в День святого Патрика, пьяный был. Пошел капкан ставить на волков. Уснул и замерз... А то пошли ко мне. Покажу могилу отца. Памятник ему своими руками сделал. Люди из Скрентона приезжают посмотреть...

— В следующий раз придем, Шон. — Корабельников похлопал Шона по плечу. — Как мой пистолет, стреляет? — вслед соседу крикнул он и, повернувшись ко мне, пояснил. — Пистолет я ему подарил, пневматический. Шон радовался, как ребенок.

— Он и вправду ребенок, — ответил я. — Взрослый мужик. Гуси в Нью-Йорке, это ж надо... Может, его с отцом высадили в Центральном парке и там же подобрали?

Эта давняя встреча с Шоном припомнилась мне при разговоре с кондуктором вагона, который ни разу не был в Лос-Анджелесе, где «качается земля и жить опасно». Впрочем, там и впрямь зона землетрясений, и жить, признаться, небезопасно. Так ведь и в Нью-Йорке бродят гуси... кое-где.

Солнечный луч проник в купе. Я прильнул лбом к остуженному оконному стеклу, за которым, точно паста из тюбика, сплошняком выдавливались поселки, фермы, предприятия, раскрашенные четкими красками: кровля одного цвета, корпус — другого. То ли сами хозяйева эстеты, то ли «Амтрак» прижучил: дескать, нечего портить вид из окон наших вагонов, люди деньги платят. Ибо в «родном» Джерси-Сити я встречал такие чумазные предприятия, словно оказался в Колпине, под Петербургом, у стен Ижорского завода. А тут все напоминает мне американо-российский концерн «Пепси-кола», что раскинул свои уголья на Пулковском шоссе, по дороге в аэропорт. Рождественская игрушка, а не промышленный комплекс...

И опять: поселки, фермы, небольшие городочки, кладбища. Уж больно зачастили кладбища: небольшие, почти плоские наделы земли, нередко без ограды, с ровными, точно поставленные на попа костяшки домино, аскетичными памятниками темно-серого цвета. Понятное дело — каждому поселению положено иметь свое кладбище, как и свою церковь... Взгляд продолжал инспектировать ландшафт... Скопища легковушек, спящих на просторных площадях, перемежались со стадами гигантских трейлеров, автобусов или целой рощей белоснежных яхт на аккуратных стеллажах, хотя никакой воды вблизи я не видел. Или стоящий крыло к крылу выводок легких одномоторных самолетиков — видно, где-то сборочный цех...

Но где люди?! Люди! Где они?! Не воскресенье ведь, не суббота, когда американский народ прыгает в автомобили и несется куда глаза глядят... Четверг сегодня, четверг! Где люди?! Одни автомобили! «А в них и люди», — догадливо заключил я.

Нью-Бронсвик, Трентон и Капитан Великих морей

Как я ни хитрил — вскидывал резко голову, тер пальцами виски, — дремота продолжала меня одолевать. И еще этот унылый, без эмоций, громкий свист, что доносился из глубины вагона. Свистун сидел в нескольких рядах от меня, тот самый парняга, что вошел в вагон с лыжами.

Погулять бы сейчас на свежем воздухе — окна вагона так закупорены, что и огонек зажигалки не дрогнет.

За окном, разрывая лесную изгородь, выпростался Нью-Бронсвик, городок штата Нью-Джерси. С неперменной церковью, изящными строениями и белолицыми обитателями. Нью-Бронсвик считался «белым» городом, темнокожие в нем практически не проживали.

В отличие от «белого» Нью-Бронсвика Трентон считался «черным» городом. Я полагал, что столица штата Нью-Джерси заслуживает того, чтобы поезд остановился наконец передохнуть. Но поезд, едва притормозив у платформы, высокомерно отправился дальше... Когда-то я уже побывал в Трентоне, на автомобиле, по пути в Филадельфию. Провинциальный

городок, казалось, оккупирован пуэрториканцами и людьми из Африки. И это столица штата с населением около восьми миллионов человек! Вообще, столицы штатов, за редким исключением, — поселения пасторальные, тихие, резко контрастные: современные билдинги высятся над домами подобно лошади пастуха над овечьим стадом. Да и сама столица всей Америки — Вашингтон — город сравнительно небольшой, музейный, чиновничий. И тоже — словно взят на abordаж темнокожим людом. Вероятно, такова традиция — американцы берегут свои столицы, как дети родителей. А почему в столицах так много темнокожих? Испытывая нравственную вину перед некогда угнетенными народами, американская конституция предоставляет темнокожим режим наибольшего благоприятствования. А столицы, как известно, напичканы муниципальными учреждениями и, соблюдая закон, в первую очередь предоставляют работу темнокожему люду. Не то что частные компании — те вольны брать на работу кого хотят, кто принесет им ббльшую пользу...

Так что и Трентону досталась такая судьба — тихий, полусонный город, составленный из мозаики старых традиционных строений и неожиданно модерновых вкраплений, над которыми возвышается монумент со статуей на вершине. «Что это?» — спросил я у встречного пуэрториканца. «Это памятник Колумбу, — ответил он, польщенный вопросом. — Там похоронен Колумб». Я усмехнулся наивной кичливости прохожего. Но, к моему изумлению, и второй трентонец, белолицый толстяк, ответил точно так же. «Верно, мистер. — Белолицему не понравилось мое недоверчивое выражение. — Тут и накрыли его плитой, а для верности поставили эту башню».

Я слышал о четырех «истинных захоронениях» Колумба — в испанской Севилье, в Генуе, на родине великого мореплавателя, и еще где-то два, не помню. Жители каждого из этих мест уверяли, что останки генуэзца покоятся именно у них. И Трентон туда же?! Не поленившись, я приблизился к основанию стелы. Бронзовая дощечка тускло извещала, что сей обелиск воздвигнут в память о Гражданской войне Севера и Юга Америки.

Метрах в тридцати, в стороне, под тенью раскидистого вяза, молодая женщина покачивала коляску с младенцем. Под пышным балдахином младенец напоминал херувима

в розовом оперении. Поравнявшись, я спросил беспечно, что за памятник возвышается над славным Трентоном? «Колумбу. — Глаза женщины сияли счастьем материнства. — Там покоится великий Христофор Колумб, да благословенна будет его память».

В связи с этой забавной историей мне вспомнился другой случай...

Как-то я отправился на север штата Нью-Джерси к своему знакомому, что работал механиком в автомастерской городка Стокгольм. Названием своим городок был обязан первым здешним поселенцам-шведам. На пути к Стокгольму заблудился совсем уже пустыковый городишко Кинеллон, даже не городишко, а так, поселок коттеджей на тридцать. С сугубо белым населением. В том самом Кинеллоне мы и условились встретиться с Николаем — так звали моего знакомого. Николай хотел показать нечто удивительное... а дальше мы доберемся до Стокгольма на его машине, миль десять, не более.

Автобусом я доехал до Кинеллона к вечеру. Городок точно вымер, ни души. Что может быть тут интересного! К тому же на доме, к которому мы направились, висел замок, а табличка извещала, что Клуб путешественников закрыт. Николая это обстоятельство не смутило. Он куда-то слинял и минут через десять вернулся с пожилым американцем, внешне похожем на лорда Глинервана из кинофильма «Дети капитана Гранта»... «Глинерван» источал лучезарную улыбку, бренча связкой ключей. Ради русского он готов пренебречь отдыхом и открыть дверь клуба в неурочное время... Как так случилось — не знаю. Возможно, кто-то из великих морских путешественников и имел отношение к крошечному Кинеллону. Трудно представить этот заброшенный в глубину штата Нью-Джерси городок как «столицу покорителей океанов» — однако именно здесь разместился в старом аккуратном коттедже известный всей Америке клуб. Тихие полутемные комнаты клуба хранят бесценные реликвии: морские карты, лоции, фотографии, личные вещи, курительные трубки, компасы и многие другие предметы, принадлежавшие некогда славным мореплавателям. Почетным членом этого элитарного клуба является англичанин сэр Фрэнсис Чичестер, удививший мир кругосветным плаванием в одиночку, которое он совершил в шестьдесят пять лет. А также Джон Кондуэлл, проплывший

на яхте от острова Фиджи до Панамы. И тоже в одиночку... Но более всего меня поразила биография Капитана Великих морей американца Уильяма Уиллиса, семидесятипятилетнего мореплавателя, предпринявшего три сверхдалних океанских перехода. И каких!

Первый свой поход он совершил еще «молодым», шестидесятилетним, на бальсовом плоту. Правда, не в одиночку, а с попутчиками — кошкой Макки и попугаем Икки, присутствие которых на фото придает облику аскетичного смуглолицего американца детскую чистоту. Верно подмечено — животные облагораживают. Скучать в такой компании не приходилось. Мало того что надо следить за курсом, рулем, парусом, надо еще и кормить своих попутчиков. И в шторма, и в ураганы. Спать урывками, питаться консервами и мачикой — мукой из жженой кукурузы.

Однажды, во время ловли рыбы, Уиллис свалился в океан, но успел ухватиться за леску, а акула, сопровождавшая плот, почему-то не тронула моряка. Было и такое: ремонтируя такелаж, Уиллис упал с мачты и ударился головой. Травма вскоре дала о себе знать — он... ослеп. Но судьба была милостива к моряку — через несколько дней зрение вернулось, а вскоре показался остров Самоа — конечная цель путешествия. Тогда-то Уиллис и удостоился звания Капитана Великих морей. Второе свое путешествие Уиллис предпринял в возрасте семидесяти лет. Он решил пройти весь Тихий океан от Чили до Австралии, свыше восемнадцати с половиной тысяч километров. Правда, на более надежном, стальном трехкорпусном плоту — тримаране. Однако конструкция оказалась слишком легкой для океанских волн. Однажды во время урагана Уиллиса швырнуло на палубу с такой силой, что он потерял сознание. Когда пришел в себя, почувствовал, что не может встать: ноги оказались парализованными. Едва дополз до каюты, как вновь потерял сознание. Очнулся спустя неделю. Превозмогая страшную боль, принялся делать физические упражнения и массаж. Постепенно восстановил чувствительность стоп и голеней. Свой семьдесят первый год рождения встретил у берегов Австралии, в августе 1964 года. Цель была достигнута. Оставалось пройти через рифы. Помогла гигантская волна, перебросившая тримаран через кораллы, швырнув его на песчаный берег... Но мореплаватель не успокаивался. «Свое семидесятипятилетие отмечу в океане». И отметил.

— Он никогда не отказывает русским туристам в посещении Клуба, — кивнул Николай на «Глинервана». — Из-за советского траулера, который спас судовые документы Капитана Великих морей. Траулер обнаружил в океане полузатопленную посудину Уиллиса, но, увы, без Капитана. Того, вероятно, смыло в океан...

Николай из Стокгольма

Наш автомобиль покинул игрушечный Кинеллон. Николай радовался моему приезду. Знакомство наше было недавним. Состоялось оно на вечеринке в доме бывшего ленинградца Леонида. Он и его жена — обаятельная и доброжелательная Клара — любили принимать гостей в своем просторном доме в престижном районе Квинса. Они жили в Америке двадцать пять лет и достигли немало. Клара была совладелицей довольно крупной компании по установке сантехнического оборудования, а Леня — хозяином нескольких карвашей: автомоек и автомастерских. Бизнес позволял им жить на широкую ногу, принимать гостей и, что отличало многих бывших россиян от аборигенов, вкусно и обильно угощать. В их доме царил ленинградская аура. В субботние вечера дом жил особой жизнью, и быть принятым в этом доме почиталось за честь и доверие...

Честно говоря, меня удивило присутствие Николая в той компании. Среди излучающих успех людей Николай выглядел белой вороной со своим снулым морщинистым лицом, острым залубенным носиком, серыми мелкими глазами, которые, казалось, с трудом выкарабкиваются из-под бугристых век. Шершавые с виду узловатые руки с бурыми от табака ногтями в этой компании выглядели особенно неуместно. Да и костюм его — серый, помятый — будил воспоминания о фабрике имени Володарского еще хрущевского времени. Внешность деревенского мужичка, выросшего на картошке... Компания, разгоряченная танцами и вином, поначалу залезла в финскую баню, размещенную в подвале дома, потом, отчаянно веселясь, перебралась в просторные джакузи, под колкие струи воды... Николай, как и я, участия в веселье не принимал. Уронив себя в мягкое кожаное кресло, Николай потягивал пиво из банки, закидывая соленые орешки в свой лягушачий рот.

— А вы что же не купаетесь? — спросил я.

Николай не ответил. Даже не одарил меня взглядом. Те, кто сейчас плескался в серебристой воде, прошли суровую эмигрантскую школу — отчаяние, беспокойные ночи учебы, всевозможные превратности каждодневной жизни людей «без языка». Но выдюжили, устояли. Им и сейчас нелегко. И это веселье в джакузи у многих напускное.

— Ненавижу, — проговорил Николай. — Шваль.

Я скосил глаза и заметил у ножки его кресла бутылку водки. Наверняка Николай подливал ее содержимое в свою бездонную банку с пивом. Тут к нему подошел хозяин дома и похлопал по плечу.

— Поеду домой, — решительно проговорил Николай, вскинув лицо.

— Ну да, — ответил хозяин. — Как же артисты? Вот-вот приедут.

— А ну их в жопу! — Николай вытянул себя из кресла. — Не видел я артистов!

— Ты что? Ульянова пригласили. И, кажется, Дурова с Джигарханяном. То ли их вместе.

— Вот вместе их и в задницу...

Во многих домах удачливых эмигрантов появилась мода — собирать друзей и приглашать на эти сборы заезжих гастролеров, потоком хлынувших на заработки в Америку. Гости сбрасывались — «кто сколько сможет». Такой благотворительный вечер в пользу приглашенных артистов. А те пили-танцевали, рассказывали всякие актерские байки и расходились довольные своей судьбой. Не говоря уже о всякой эстрадной шушере, в таких благотворительных междусобойчиках можно было встретить и «классиков» драматической и оперной сцены. Импресарио, организовавшие «зарубежную гастроль», старались пристроить своих подопечных в наиболее богатый дом. Между хозяевами домов нередко даже возникало соперничество — кто какую «звезду» переманит... Меня смущали эти посиделки с российскими «звездами». Что-то было в них унижительное. Не знаю, как для самих «звезд», а для меня точно. Было стыдно. За свою страну, опустившую своих талантливых людей до состояния скоморохов. Я часто ловил на таких посиделках открыто мстительный взгляд благодетелей. Ведь в той, другой жизни многие из «звезд» и на порог не пустили бы кое-кого из них. Вот как судьба обернулась. Мне казалось, что подобное чувство томит и Николая...

Вышли мы вместе. Николай предложил подвезти меня до метро. «Успокойтесь, я совершенно трезв», — он разгадал мои мысли... Машину Николай вел уверенно и осторожно. Вскоре мы добрались до метро. Но тут Николай предложил добросить меня до дома — ночью метро работает отвратительно.

Круглосуточный работяга — нью-йоркский сабвей — не отличался прилежанием. Менялись маршруты, перерывы между поездами — гигантское и старое хозяйство требовало беспрепятственного ремонта и обновления, а когда, если не ночью...

— К тому же и дряни черной полно ночью в метро. — Николая, видно, тяготило наше скованное общение.

— Что-то вы не очень жалуете местную фауну, — мягко обронил я.

— Возможно. — Он засмеялся. — А чем вы занимаетесь? Впрочем, мне сказали, что вы писатель. И что вы такое написали?

Меня всегда коробил подобный тон — снисходительный, нагловатый, точно дружеская пощечина...

— Написал кое-что, — ответил я безучастно. — Фамилия моя вам ничего не скажет. Разве что названия книг, и то вряд ли. — Я переждал, распаляя любопытство своего колючего собеседника. — Романы «Таксопарк», «Универмаг», «Архив»... Еще кое-что...

Николай хлопнул ладонями по рулю автомобиля и повернул ко мне лицо.

— Так это вы?! — воскликнул он, точно выпорхнул из своей угрюмой клетки. — Я же вас читал, еще в России. Да и здесь как-то прикупил вашу книгу у Камкина, на Бродвее. «Коммерсанты» называется...

Я кивнул, скрывая злорадство. Не раз приходилось сталкиваться с такой реакцией — романы «Таксопарк», «Универмаг», «Поезд» действительно когда-то широко читались, сама публикация в журнале «Новый мир» была обречена если не на признание, то на определенную известность пренебреженно.

— Что ж, придется вам подарить еще что-нибудь из своих книжек, — проговорил я. — Приедем домой и подарю. «Взгляни на дом свой, путник». О судьбах эмигрантов в Израиле.

— О евреях, — хмыкнул Николай. — Увольте. О евреях мне книг не надо. И так хватает впечатлений.

— Вы антисемит? — спросил я с каким-то усталым отстранением.

— Понимаете... Если бы встал вопрос: помочь еврею или нет — я бы не помог. А если бы: спасти еврея или нет — я бы спас. Понятно говорю?

Я пожал плечами. За долгие годы мне не часто приходилось попадать в подобную ситуацию, так уж получилось. Но вокруг стреляли. И прицельно. Но в меня не попадали. Возможно, и оттого, что я не только не скрывал своей национальной принадлежности, а наоборот, выпячивал ее, тем самым озадачивая злословщиков, а может быть, и вызывая у них уважение. Как-никак у меня была довольно серьезная группа поддержки — Христос, Маркс, Эйнштейн... И еще там по мелочам: Спиноза, Чаплин, наконец, Колумб, итальянский иудей, принявший христианство. Знаете, в бою каждый солдатик дорог... Но это так, к слову... Я чувствовал расположение к себе этого странного типа, Николая. Но это с одной стороны. С другой — я вспомнил его отношение к тем людям, что плескались в джакузи. Теперь-то мне понятно. Но ведь хозяин дома, в котором нас принимали, тоже вроде не малаец, а из племени тех, кому Николай ни за что бы не помог...

— А мы с ним старые друзья, еще со школы, — ужом проник в мои мысли Николай. — Только в его семье я чувствовал себя в безопасности. Отец мой — алкаш, ханыга, лупил меня смертным боем...

Вест-Сайд-Хайвей подманивал наш автомобиль чередой зеленых кружков светофоров. Казалось, мы вот-вот ткнемся в опасный красный сигнал, но в последний момент вспыхивал зеленый. Никто нас не обгонял. И мы никого не обгоняли. Пример классического конформизма. При такой удаче мы должны скоро добраться до Голланд-туннеля, что под Гудзоном соединял Манхэттен со штатом Нью-Джерси. Именно туда я и спешил от своего колючего соседа...

— Знаете, Николай, ваше откровение ставит меня в тупик. Но есть три выхода из положения, — произнес я. — Первый — дать вам в ухо и выйти из вашего катафалка. Второй вариант — просто выйти, без дать в ухо. И третий вариант — представить все сказанное вами как неуклюжую шутку...

Николай коротко и хрипло хохотнул.

— Мне лично по душе третий вариант, — произнес он с удовольствием. — Первые два не очень удобны — отсюда сложно выбраться, только что на такси... Нет, лучше всего третий вариант. К тому же я решил все-таки принять вашу книгу об Израиле...

— Кстати, — раздраженно прервал я, — вы в Америке наверняка по израильской визе...

— А вот и нет, — отрезал Николай. — Это долгая история... Я плавал механиком на сухогрузе. А мой дружок работал в отделе кадров порта. Он предупредил меня, что пришла на меня «телега». Кто-то стукнул, что я вожу из загранки недо-зволненное барахло, а главное, плохие книжки. Все произошло за пару часов до отплытия, заменить меня было некем, и капитан взял ответственность на себя: мол, вернемся из рейса, тогда и разбирайтесь. Но на берег меня не выпускал, находил повод. Когда ты под колпаком, это чувствуется, что-то внутри смещается, тяжелеет, трудно объяснить... Мы стояли на рейде в Роттердаме. Я надел жилет, прихватил документы и прыгнул в воду. А потом началась канитель: дознания, тяжба, политическое убежище... Словом, оказался в Штатах. Женился здесь, развелся. Играл в кабаках на гитаре. Пристроился в синагогу, инженером...

— Что?! — прервал я в изумлении.

— Инженером. Отоплением ведал и текущим ремонтом. Насмотрелся я там на вашего брата, если честно.

— Как же так, в синагогу... — не снимал я подозрений.

— Сказал, что еврей. Из России. Известное дело — из России, значит, не обрезан и языка не знает. Сошло... Но тут жена моя, курва, подножку подставила, донесла, что не еврей я во-все. Зла была на меня, что пить я стал... Она тоже пригубить любила. Только свое пила, пасхальное, «Манишевич». Сироп, а не вино. От этого «Манишевича» меня воротило... Словом, бросила меня, со своим сошлась. Еврейцы всегда к своим тя-нутса, всем известно...

Бетонный чулок Голланд-туннеля процеживал сквозь себя автомобильное стадо. В два ряда. С выходом в другом штате. Теперь главное — не прозевать развилку. Дорога, что справа, выведет на Торнпайк, бесконечный хайвей: въедешь и, считай, пропал, придется гнать до ближайшей развилки не одну милю. Нам же надо взять левее, на Кеннеди-бульвар...

— Знаю, знаю. В тех местах жил дружок мой, бывший москвич. Интереснейший был господин. Тоже писатель. О Столы-пине книгу сочинил. И кстати, в архивах работал, Солженицы-ну материал надыбывал. Частенько в Вермонт ездил, отвозил. Жаль, умер. От рака. Курил по-страшному...

— Серебренников, что ли? Саша? — проговорил я. — Так мы с ним на одном этаже обитали, на пятнадцатом.

— Ну?! — удивился Николай. — Так я знаю тот дом...

С той встречи прошло достаточно много времени. И вдруг звонок из какого-то городишка Стокгольма, затерянного на севере штата Нью-Джерси, с приглашением погостить. Вот я и отправился через Кинеллон...

— Человеку, которого не носило в океанских штормах, невозможно представить степень мужества Капитана Великих морей, — проговорил Николай.

— Полагаю, что и в этих местах необходимо мужество.

По обе стороны от пустынного шоссе тянулся приятный для глаз, но совершенно дикий, необжитой пейзаж. Изредка к обочине шоссе подбегали какие-то дорожные знаки, чтобы через мгновение вновь скрыться, точно вспугнутые случайным автомобилем. На мой вопрос, долго ли Николай искал этот Стокгольм, тот ответил, что весьма долго. Правда, есть и другая дорога, более американская, но ему нравится ездить здесь... За время, что мы не виделись, Николай ничуть не изменился. Даже костюм на нем был прежний — мятый, старомодный, какой-то советский...

— К тому же в этом Стокгольме нет черных, — добавил Николай. — При виде черных у меня появляется сыпь.

— Вероятно, и нет евреев, — съязвил я.

— Евреи есть везде, — серьезно ответил Николай. — Мой хозяин — румынский еврей. Видно, человечество без них не может. Как без своей тени. Борьба с этим бесполезно, все равно что ссать против ветра.

Я провел в этом Стокгольме два дня. И за все время не встретил ни одного шведа. Может быть, они свои фамилии изменили на американский лад.

Эдди Уайт — парень из Южного Бронкса

Откинув плед, я выбрался из кресла. С каким наслаждением я бы прихлопнул свистуна его лыжами, что без толку лежат на полке. Вагон катил гладко, без тряски и качаний. «Рельсы уложены бесстыковые», — решил я. — Пригодились знания, почерпнутые мной в бытность проводником. Давно это происходило, в начале восьмидесятых. Верный своему методу,

я, приступая к роману «Поезд», устроился на работу проводником пассажирского вагона. И опыт забавно-греховной службы, приобретенный реальным участием в советской еще железнодорожной жизни, я надеялся, будет небесполезным в поездке по Америке...

Я шел вдоль вагонного коридора с улыбкой бывалого американца. Старушка, что собралась к папе, лопотала со своей спутницей. Заметив меня, обе бабушки дружно помахали сжатыми кулачками, похожими на две сырые пельмешки. «Президент Линкольн» буркнул мне: «Как дела?», не отводя глаз от лэптопа, лежавшего на его вздыбленных коленях. Мой ответ его интересовал так же, как меня его вопрос. Свистун, казалось, медитирует, чуть приподняв меленькое личико и прикрыв глаза. Его губы, собранные в куриную гузку, истово трудились. Если бы мой взгляд материализовался, от свистуна осталась бы пыль. Ноль внимания! Свист с неукротимостью пули сшибал рокот колес...

Поверх развернутого газетного листа теплели черные глаза под коротким тусклым козырьком фуражки. Я приблизился. Кондуктор сложил газету и спросил, не требуется ли какая-нибудь помощь. Общительно расположившись на соседнем кресле, я принялся растолковывать кондуктору, что приехал из России, где очень верят в приметы. Если кто-нибудь свистит в помещении, то можно высвистать для себя большие неприятности. Кондуктор понимающе кивнул и сказал, что у американцев тоже есть приметы: если сурок Вилли в Пенсильвании вылезет из норки в полдень второго февраля и тень его спрячется в норку, то предстоит довольно прохладное лето. Я ответил, что с сурком все понятно, а когда в вагоне свистят, то нельзя заснуть. На что кондуктор простодушно выразил уверенность, что к ночи пассажир устанет и свистеть прекратит. К тому же существует Первая поправка Конституции, которая гарантирует гражданам свободу слова. «Да, но не свободу свиста», — слабо возразил я. Кондуктор подумал, отложил газету, поднялся и направился к свистуну. Вскоре над гвардейской спинкой кресла выплыла взлохмаченная голова парня. Порыскав глазами, он увидел меня и, подняв руку в салюте, завопил: «Горбачефф!» — и сел на место.

Воротился кондуктор. Его лицо источало удовольствие от улаженного конфликта. У чернокожего человека доволь-

ство проявляется как-то искреннее, по-детски, довольство источают все составляющие лица: нос, губы, щеки, глаза, даже уши. В нашем доме, в Джерси-Сити, проживают разные люди — белые, желтые, черные. Но почему-то с особой теплотой мне вспоминаются черные соседи. В то же время на улице, в общественных местах многие чернокожие весьма агрессивны. Обладая непривычно резкими и громкими голосами, они нередко эпатируют окружающих, вызывая у них раздражение. Говорят, это свойственно чернокожим жителям Нью-Йорка и других северных штатов, на юге они гораздо мягче. Не знаю... вот доберусь до Калифорнии, увижу. Я еще вернусь к расовым взаимоотношениям, как и к национальным. Одно мне ясно — не стоило Всевышнему горячиться и рушить Вавилонскую башню. Его добрый замысел был не так понят земным воинством...

Кондуктора звали Эдди Уайтом. Парень из Южного Бронкса, гордость семьи, в которой из поколения в поколение все служили мукомолами; вероятно этим и можно было объяснить фамилию Уайт, что означало — Белый. Забавно. Представить только курьезность ситуаций, когда его, иссиня-черного человека, окликали: «Эй, Белый!», люди же не знали, что он из мукомолов. На своей кондукторской должности «черно-белый» Эдди получает кучу денег (сколько — это секрет) плюс массу всяких льгот и бенефитов как работник железнодорожного транспорта. Когда он выйдет на пенсию, то все семейство может не огорчаться — на страже интересов стоит профсоюз и Конституция...

Под задранной брючиной Эдди, поверх черного носка, на черной коже ноги необычно светлая накладка замысловатого рисунка. Мое признание в том, что я когда-то тоже имел отношение к железнодорожному братству, вызвало у Эдди чувство цеховой солидарности. Он тронул мое колено мягкой ладонью и сказал, что это очень хорошо, что лучшей работы Бог не придумал, — каких только людей он не повидал за одиннадцать лет службы. Однажды в его поезде ехал Майкл Джордан, правда, в другом вагоне, но Эдди ходил на него смотреть. Как?! Я не знаю Джордана? Лицо Эдди выразило недоумение, грозившее перейти в неприязнь. К счастью, я вспомнил — это великий баскетболист всех времен и народов, из чернокожих. Эдди подобрел... И мистер Буш был

его пассажиром, конечно, после своего президентства. Эдди его сразу узнал...

Я тоже постарался не ударить лицом в грязь. Правда, мне не очень везло со знаменитыми людьми. Зато сколько я перевидал за время службы безбилетников, спекулянтов, ревизоров-взяточников, карточных шулеров, вагонных проституток и просто ловкачей. Это привело Эдди в некоторое замешательство. Что значит «безбилетников»? Если пассажир не успел купить билет у кассира на вокзале, то Эдди мог продать ему билет прямо в вагоне, правда, чуть дороже. А ревизоры! Зачем компании держать ревизоров? Кого проверять? Его, Эдди? Будет он рисковать своей работой!

— Извините, сэр, я не совсем беру в толк. Что такое «спекулянты»? Торговцы без лиценса? Так это забота налоговой полиции, сэр...

Сдается мне, что Эдди обиделся: его солидную профессию, гордость всей семьи из Южного Бронкса, я пытаюсь подвести к какому-то криминалу...

— Красивая у тебя татуировка, Эдди. — Я опустил взгляд к ноге парня.

— О да, — просиял Эдди.

Люди многое могут простить другим, если те замечают предмет их гордости, а американцы относятся к похвальбе искренне, как дети.

— Я рисовал свое тату в Филадельфии. Вы были в Филадельфии, сэр?

— Да, приходилось.

— Это лучший город, который я видел, сэр. Там живет мой брат Майкл. Он коп, сэр. В Южном Бронксе он стал бы мукомолом, как все Уайты, а в Филадельфии он — полицейский... И как вам наша Филадельфия?

Я поднял большой палец и прищелкнул языком. Мне и впрямь нравилась Филадельфия, я не лукавил. Само звучание слова пробуждало нежный и романтический отклик. Как и слово «Пенсильвания», штат, в котором Филадельфия значилась второй столицей.

Первой столицей, в соответствии со странностями американского административного деления, значился «заштатный» городок Гаррисберг с населением в пятьдесят тысяч жителей.

Давно это было, более трехсот лет тому назад, во времена английского короля Карла II. Легкомыслие и праздность монарха так пропахали казну, что пришлось залезть в кабалу, одолжить денег у собственного адмирала сэра Артура Пенна. Тот хоть и слыл рубаха-парнем, боевым адмиралом, принесшим своему королю остров Ямайку, но по натуре был человеком бережливым, знавшим счет деньгам. В то же время сын адмирала Уильям Пенн, пытливый молодой человек, слыл личностью свободолоубивой, независимой и, по тем временам, считался «диссидентом» — он симпатизировал идеям квакерства. Квакеры задавали обществу задачу, не признавая канонического богослужения и церковных традиций. Они полагали, что человек должен следовать своему «внутреннему озарению». А раз так, то и службу в армии, налоги и прочие гражданские обязанности перед королевской властью квакеры не признавали. Вольнодумство упоительно, сладостно искушение быть не таким, как все. Особенно это настроение захватило студентов Оксфорда, среди которых был и юный Уильям. В конце концов его турнули из университета и пригрозили каталажкой. В знак протеста Уильям Пенн свалил «за бугор», где и закончил образование. Рассудив, что родина забыла его прегрешения, Уильям возвратился в Англию, где его «тепленьким», прямо с пристани, отправили в Тауэр. В темнице, на казенных харчах, Уильям принялся совершенствовать свои знания экономики и еще больше проникся идеей создания справедливого демократического сообщества людей. В то же время он пылко уверял своих дознавателей, что навсегда покончил с баловством. Покаяние Уильяма возымело действие — король велел выпустить баламута из Тауэра и, влекомый порывом добродетели, пожаловал сыну своего доблестного адмирала землю в далекой заморской колонии... в счет денежного долга перед папашей Уильяма.

Как бы то ни было, Уильям отправился в свои владения. Но не один, а с группой единоверцев-квакеров. Королевский надел оказался довольно щедрым — просторная земля, вздыбленная могучей грядой Аппалачей, поросшая густым лесом — сельвой, отныне славилась имья владельца: Пенсильвания... К свободным квакерам потянулся разномастный люд, в основном из душной, пронизанной враждой Европы: немцы, шведы, французы, шотландцы организовали свои поселения. Но это уже были другие люди. Точно первые зерна новой, совершенно особой поросли, что в дальнейшем поднялась на этой благословенной земле. Явление, над которым мне и хочется в дальнейшем поразмышлять. Почему именно Пенсильвания явилась очагом американской демократии? Вероятно, тут знаковую роль сыграла и сама личность Уильяма Пенна. Расширяя свои владения, он сумел не нажить врагов в лице воинственных ирокезов, своих южных соседей, и северных, не менее воинственных краснокожих племени делавер. Не в пример белолицым из штатов Мэриленд и Каролина, настроившим против себя аборигенов, сэра Уильяма Пенн скупал земли «по-честному», закрепляя покупку соглашением о равноправии индейцев и неукоснительно выполняя все пункты договора.

Этот принцип был основан не только на личной порядочности Уильяма, но еще и на религиозной философии квакеров, краеугольным камнем которой был отказ от ношения оружия. Что, как ни странно, находило понимание у воинственных краснокожих. А закрепляла мир веротерпимость квакеров — они уважали религию аборигенов, проводили мягкую законодательную политику, чего нельзя было сказать о белолицых нуворишах из Мэриленда и Каролины...

В 1682 году Уильям Пенн основал Филадельфию. Столь романтическое название, возможно, навеяно древнегреческими Дельфами. Или памятью о святом мученике Филадельфе, окончившем жизнь на раскаленной металлической решетке... Тем самым Уильям как бы предвосхитил свою хоть и не столь трагическую, но не менее печальную судьбу.

Влекомый сердечным порывом, Уильям возвратился в Англию, где к тому времени произошел переворот, — королевский дом Стюартов низложен сторонниками принца Оранского, радикальными ревнителями устоев церкви. Покровитель квакеров Уильям Пенн им как бельмо на глазу. Уильям вновь попал в кутузку, откуда со временем его вызволил новый король Вильгельм III, человек более либеральных взглядов. Не испытывая судьбу, Уильям возвратился в Пенсильванию, а там... его бывшие соратники порешили всей Ассамблеей, что их лендлорд Уильям Пенн не в меру мягок, — слишком много свобод и по части налогов, и по части законопослушания могут довести штат до разора. Ассамблея своей властью ограничила права Уильяма Пенна и подвела лендлорда к банкротству. Уильям возвратился в Англию и... вновь попал в Тауэр, теперь уже как несостоятельный должник. Там его, бедолагу, и разбил паралич. Впрямь, всякое добро наказуемо! В 1718 году Уильям Пенн умер, оставив миру звенящую страну Пенсильванию и нежную на слух Филадельфию, которой судьба предопределила стать первой столицей будущего могучего государства, городом, в котором были подписаны два самых важных документа американской истории — Декларация независимости и Конституция. Неспроста неофициальное название Пенсильвании — Штат краеугольного камня; воистину Пенсильвания — мать американской демократии.

Поезд втянул себя в черный зев туннеля, где разместился вокзал. Рядом с платформой мерцает табличка «Тридцатая-стрит». Припоминаю, что где-то в районе этих улиц в Филадельфии проживает мой ленинградский приятель, кандидат биологических наук Арнольд Данкевич. Точнее, он в Ленинграде был таковым, а здесь — мистер Арни Дан, эмигрант. Я как-то побывал у него в гостях, в темноватой, как-то нелепо вытянутой квартире, где Арнольд обосновался со своей женой. У жены был странный, спотыкающийся смех, подобный клекоту гальки, когда волны стаскивают ее в море, и неми-

гающий взгляд блестящих зеленоватых глаз наркоманки. Арнольд уехал из России отчасти потому, что хотел вырвать жену из привычной ей обстановки. Еще у Арнольда были дети. Трое — две девочки и мальчик. Старшая дочь не отличалась особой щепетильностью и жила довольно легко, многие это знали. Но Арнольд относился к слабостям дочери с печальным юмором. На вопрос знакомых, выдает ли он свою старшую замуж, Арнольд отвечал: «Выдаем понемногу». Вторая дочь после окончания Геологического института устроилась в зоопарк — присматривать за хищными птицами. Она разносила по клеткам еду, которую с трудом добывало зоопарковское начальство в скудные времена начала девяностых годов. А когда и вовсе прижало с кормами, Ира — так звали девицу — выпустила на волю каких-то экзотических птиц. До суда дело не дошло, родители замяли, но шума было много. Сын Арнольда — глазастый, худющий студент Холодильного института — был нездоров. Возможно, в нем дремала наследственность, и случайная сигарета с наркотой нарушила хрупкую генную цепь его биологии — сыном овладело тихое помешательство. Оставив учебу, он часами мог рассматривать какую-нибудь загогулину на подоконнике. Болезнь углублялась. В России лечиться было сложно...

Мы бродили по аккуратным тенистым улицам Филадельфии. Я вслушивался в знакомый тембр голоса, пытаюсь проникнуть в смысл того, что говорил мой стародавний приятель. Увы, проблемы Арнольда меня мало интересовали. У меня другая жизнь, я прибыл сюда из другой планетной системы... Арнольд получает пенсию, жена получала пенсию. Им вполне хватало на безбедное существование и даже на путешествие в Европу. Девочки устроили свою жизнь. Старшая вышла замуж за американца, владельца химчистки. Сын, пройдя курс лечения, вполне здоров, поступил в полицию переводчиком, благо русскоязычный криминал повышает рейтинг в статистике уголовных преступлений, работы хватает.

— Он так хорошо освоил английский? — рассеянно спросил я, поглощенный созерцанием города.

— Он здесь уже девять лет. — В голосе Арнольда скользнула обида, он уловил мое равнодушие к судьбе старого приятеля; ему было невдомек, что я сейчас пребывал во власти чар Филадельфии.

Шаги взяли в деревенской тишине улицы, с обеих сторон выложенной, словно бордюром, изящными коттеджами, обрамленными буйной растительностью. Я нередко встречал подобные пасторальные уголки в современных городах-муравейниках, даже в Нью-Йорке много таких неожиданных заповедников...

В нескольких кварталах отсюда раскинулось внешне ничем не примечательное строение... известное всему миру. Дворец независимости. За двести с лишним лет, минувших с тех горячих денечков, о дворце столько написано, что ничего нового не скажешь. Одно то, что в этом здании была оглашена Декларация независимости и принята Конституция — два краеугольных камня Великой страны, — говорит само за себя. Декларация независимости, составленная Томасом Джефферсоном, провозгласила, что все люди земли, независимо от расы, цвета кожи, вероисповедания, равны между собой и каждый имеет неотъемлемое право на жизнь, свободу и поиски счастья. Это священное право скрепил подписями Конституционный конвент в 1787 году. Однако сама Конституция вступила в силу в 1789 году. Два года понадобилось американскому народу, чтобы убедиться в справедливости законов юного государства. И за двести лет существования страны в Конституцию ввели всего двадцать шесть поправок, точнее, двадцать четыре: так, одной поправкой вводили «сухой закон», а другой — его отменили. За двести лет!..

— Можем пройти с тобой к Франклин-корту, — предложил Арнольд. — К сожалению, дом Франклина не сохранился, но есть красивый сад, музей.

Я пожал плечами: зачем идти, если дом не сохранился?

— К тому же Франклин украшает лишь стодолларовую купюру, — пошутил я. — Не то что президент Кливленд, тот пластается на тысячедолларовой.

— Ты когда-нибудь видел тысячедолларовую?

— Видел, — по-мальчишески взбодрился я. — Хвастанул один. На Брайтоне, в ресторане...

— Стало быть, ты видел в Америке больше меня, — оборвал Арнольд и натянуто улыбнулся. Вздохнул и добавил: — Я жалею, что приехал, не мое это занятие — эмиграция.

— А есть специалисты в этом деле?

— Есть, — кивнул Арнольд. — Они упиваются решением задач, что ежечасно подбрасывает эмигрантская судьба. Пе-

реезжают из штата в штат, меняют квартиры, работу, шастают на какие-то курсы, срывают социальные льготы... Я же человек лабораторный, тяжелый, как старый осциллограф. Моя атмосфера — кисловатый запах лабораторий института на Васильевском острове.

— Нет уже твоих лабораторий, — вставил я. — И института нет. На его месте то ли казино, то ли банк. А бывшие твои коллеги промышляют кто чем. Не удивляюсь, когда вижу ночью у мусорного бака какого-нибудь классного специалиста. Ты вовремя рванул сюда, приятель.

— Нелепая страна Россия, — вздохнул Арнольд. — Вся ее история — злая кутерьма. Да и Америка тоже хороша, я тебе скажу.

Арнольд умолк, борясь с искушением вновь вернуться к разговору, с которого и началась наша встреча. Мне не хотелось слушать его унылое сетование. Он говорил о том, что его, классного специалиста, не берут на работу. По возрасту! Опасаются, что придется вскоре оплачивать пенсию. Не понимают, что за годы, пока еще Арнольда держат ноги, он с лихвой покроет все затраты на пенсию. Ведь ему только стукнуло пятьдесят лет... «Я пришел к менеджеру и стал приседать. Прямо в кабинете. Когда распечатал четвертый десяток, менеджер сказал: "Вот и хорошо. Теперь я уверен, что у вас хватит сил покинуть мой кабинет"».

Возобновлять этот разговор не было желания. Встреча тяготила нас обоих. Фразы перемежались все более долгими паузами. А ведь там, в Ленинграде, в другой жизни, общение было легким и вызывало взаимную симпатию. Да, мы разошлись, отделились. Каждого из нас не только не волновали проблемы другого, эти проблемы нас раздражали.

Я был околдован осенней Филадельфией. Четко спланированные прямые улицы, заложенные еще Уильямом Пенном, наверняка явились предтечей планировки многих американских городов, придав стране как бы общее выражение лица. Что особенно подчеркивали небоскребы. Их аскетичные высоченные тела словно завершали фразу улиц частоколом вослицательных знаков.

Мы шли по Третьей улице. На углу Элбоу-стрит Арнольд придержал мой локоть и кивнул в сторону дома, чем-то похожего на коттедж, что после войны строили пленные немцы

в Ленинграде. За стеклом витрины красовались обнаженные тела манекенов, покрытые цветной татуировкой. Световая реклама оповещала о выставке «Искусство татуировки» — несколько специализированных фирм демонстрировали желающим свое профессиональное мастерство, что, признаться, меня озадачило. С детских лет я был убежден, что этим занятием промышляют кустари-одиночки.

Помню ассирийца Джалала, чье убогое хозяйство размещалось в дырявом сарае у Черногородского моста в городе моего детства Баку. Вечерами мы, мальчишки, подкрадывались к ветхим стенам сарая и, затаив дыхание, наблюдали, как под вопли клиентов, которым ассириец вгонял под кожу иглы, проявлялся волшебный рисунок... Уже в другой, взрослой жизни при виде изощренной татуировки я вспоминал соседского пацана Вовчика-Жиртреста, на обширных телесах которого ассириец в полной мере проявил свое мастерство. Но не это будоражило мою память. Сестра Жиртреста была первой, кто пробудил во мне любопытство к таинствам противоположного пола. После недолгих уговоров она охотно демонстрировала онемевшим от собственной храбрости дворовым соплякам свое «таинство», едва поросшее черным руном. Мы пялили глазенапы на этот каракулевый рай с такой силой, что, обрети наш взгляд материальность, в том самом месте оказалось бы сквозное треугольное отверстие. Серп луны покрывал наши лица могильным светом. Ладони становились влажными. Тщедушные тела сковывало вождеделение... Но вот ее пальцы отпустили подол платья — занавес падал, представление заканчивалось. Вовчик обходил зрителей, держа в руке пустую консервную банку. Монетки серебристой килькой ныряли на жестяное дно. Ради этого спектакля пацаны голодали весь школьный день, собирая денежку, что выдавалась на завтрак: булку с кусочком желе-повидла или с белесой долькой волглого буйволиного масла... Наивные родители полагали, что аист, приносящий детей, еще продолжает летать над нашими головами, в то время как их благовоспитанные чада, укрывшись от родительских глаз на пустыре за школой, занимались измерением длины своих тощих пиписек. Вовчик-Жиртрест при любом составе соревнующихся занимал последнее место, даже при беллом и ленивом взгляде. И свой позорный недостаток Вовчик пытался перекрыть посещением сарая ассирийца Джалала, а потом и демонстрацией таинств собственной сестры.

Спектакли эти придавали нашей детской щенячьей жизни определенную взрослость, приобщая каким-то образом к романтике войны, что в те далекие годы бушевала вдали от тылового города моего детства. Познание женщины и военная доблесть распалили мальчишеское воображение. Меня тянуло в кровать, в мою тяжелую самодельную раскладушку, устойчивость которой придавали грубо сколоченные доски. Раскладушка хранилась в коридоре, и, чтобы привести ее в надлежащее состояние, надо было изрядно потрудиться. Грязно-зеленый брезент покрывался душным комковатым матрацем и тяжелой твердой подушкой. Так готовилось ложе моих первых похотливо-романтических грез... Сюжет был прост и сладок. Возвращение с войны, в орденах и славе. Встреча с сестрой Вовчика. Праздничный обед: сельдь с картошкой в мундире, кукурузные лепешки, суп с чечевицей, кисель из алычи — и, наконец, главное, из-за чего и выстраивался весь спектакль: жаркие объятия на пудовом матраце. Так, самостоятельно, без теоретиков психоанализа, учений Фрейда и Павлова, я приходил к понятию первичности сознания. Сила воображения переносила меня в самые сладкие и сокровенные обстоятельства. И даже по несколько раз за ночь, пока, вконец измочаленный, я не засыпал, обняв тяжелую подушку, истово выполнявшую роль сестры Жиртреста. Иногда кино прерывал голос соседа, окна которого выходили в коридор. «Что ты там скрипишь на своей раскладушке? — ворчал сосед. — Хулиган такой. Все расскажу твоей маме». Но не рассказывал. Боялся. Вообще-то я был тихим и послушным мальчиком. Но, когда находило, становился отчаянным «головорезом», как дружно определяли меня пуганые жильцы дома №51 по Островской улице города Баку...

Кстати, Филадельфия расположена на одной параллели с городом моего детства. И это незримое единение непостижимым образом рисовалось в моем восприятии обилием солнца, деревьев, уличной тишиной. Бульвар вдоль реки Делавер виделся далеким приморским бульваром, что подобрал в себя часть моего детства. А затруханый сарай штукаря — татуировщика Джалала — загадочно принял облик бывшего дансинга «Возрождение». Просторное помещение клубилось разукрашенными телами, словно под накинутой сетью. Сквозь цветные узоры можно было разглядеть черную, желтую,

белую кожу людей разных рас и национальностей. Женщины, мужчины, подростки бродили по залам, разглядывая друг друга, глаза на развешанные вдоль стен образцы работ лучших татуировщиков знаменитых фирм «Аутеник», «Боди графикс», «Электрик артс»... Обсуждали тончайшие нюансы ремесла флэш-художников. Особо часто произносили имя Билла Фанка, сына легендарного татуировщика Эдди-филадельфийца. Билл владел всеми жанрами флэш-художников. Как классикой — цветы, птицы, якоря, так и композициями сложнейших сюжетов, очерченных черным, с трехцветной основой и серой отмывкой, что придавало его работам особый объемный эффект. Немалое значение имела и техника исполнения. Рисунок наносится одной электроиглой с растушевкой от черного до светло-серого...

В разрисованной толпе мы с Арнольдом чувствовали себя не совсем уютно. И тут в шумной разноголосице я услышал раздраженный женский вопль. Дама в строгом темном платье тыкала в грудь какого-то мальчугана: «Что это такое, что это такое?!» — «Твой портрет, мама, — лепетал мальчуган, круглое лицо которого расплывалось в улыбке. — С твоей фотографии!» — «За каким дьяволом это тебе понадобилось, дурак?!» — Дама обескураженно вскинула руки на итальянский манер. «Это мой подарок тебе на день рождения, мама!» — В распахнутой джинсовой куртке на груди мальчугана красовалась наколка размером в блюдце — женское лицо в ореоле роскошного розового орнамента. «А это что такое?!» — «Это облака, мама. Ты точно Мадонна. Неужели тебе не нравится, мама?» — огорчился мальчуган. «Да что же тут может нравиться, кретин? Весь в своего отца!»

Амиши и молокане

Проводник поезда Нью-Йорк — Чикаго, парень из Южного Бронкса, мистер Эдди Уайт смотрел на меня кошачьими зрачками, которые чернели в центре голубоватых, густо опутанных красными прожилками, выпученных глаз. Гордый своей татуировкой на ноге, гордый за своего брата, филадельфийского копа, гордый за свою Филадельфию, гордый за свою Америку.

— Скоро станция Ланкастер. Там подсядут амиши. Они часто садятся в Ланкастере и едут до Чикаго в это время года. А в России есть амиши?

Я покачал головой — нет, в России нет амишей. Но в России и без того хватает разных сект. К примеру — молокане. Но амишей нет... Я не стал распространяться на эту тему — Эдди все равно не возьмет в толк, кто такие молокане, хотя молокане и в Америке есть. А кого в Америке нет?

— Вы знаете, кто такие амиши? — допытывался Эдди.

Я уже знал кое-что об амишах, был в их деревне в штате Нью-Джерси. Мельком, проездом, вечером. Благо, небо было светлое — кое-что рассмотрел. Дело в том, что амиши не очень жалуют достижения цивилизации: электричество, радио, тем более — телевизор, дьявольское изобретение для передачи человеческого изображения. Рассказывали, что у них, у амишей, дома составлены без гвоздей, крепятся всякими деревянными клиньями и шпонками, пуговиц амиши тоже не признают: штаны держатся на петлях и крючках. Даже телеги — основной транспорт амишей — без металлических деталей. Вокруг носятся автомобили, летают самолеты, мерцают экраны компьютеров — амиши крепки в своей вере...

Секта менонитов, во главе с Яковом Амоном, покинула Европу в конце семнадцатого века, когда в Старом Свете возникла тенденция единения церкви с государством, что шло вразрез с учением менонитов. Само же учение основано в начале пятнадцатого века голландским проповедником Мено Симонсом. Словом, рутинная история духовного протеста, подобная истории квакеров, тех же российских молокан да и десятка прочих сект, созданных, большей частью, благодаря честолюбию лидеров...

Городок Ланкастер плоской узбекской тубетейкой лежал на пенсильванской равнине. Припомнилось имя голливудской кинозвезды Берта Ланкастера — возможно, он из этих мест...

Проем окна законопатило черными круглыми пятнами — мужчины в широких шляпах выстроились вдоль перрона. Позади, в белоснежных чепцах и в строгих, мышинового цвета, платьях стояли женщины, словно сошедшие с полотен «малых голландцев». Амиши! Поезд остановился. Мощно ухнула

пневматическая дверь. В вагон вошли амиши. Точно тролли из знаменитых скандинавских саг. Впереди важно ступал низкорослый розовощекий старичок в черной шляпе, в черном сюртуке и с толстой черной палкой в руках. Пухлые гладкие щеки накатывались на широкую седую бороду. Следом шел «тролль» помоложе, но тоже с бородой под вислым лиловым носом... Вагон наполнился клетотом и суетой пассажиров, занимающих свои места.

Невольно мне подумалось: если амиши такие ортодоксы в быту, то почему они пользуются железной дорогой, этим символом цивилизации, а не привычным своим транспортом — телегой, запряженной лошадьми? Правда, подобно автомобилю, снабженной при этом поворотными сигналами. И так они умудряются добираться аж в самый центр Нью-Йорка. На остров Рузвельта, что оазисом высится на Ист-ривер, бок о бок с Манхэттеном. Тихий остров напоминал уголок старого европейского городка. Возможно, поэтому его и облюбовали амиши, выходцы из Швейцарии. По субботним дням к небольшой площади на острове съезжались амиши со своим товаром. Масло, сыр, колбасы, домашний хлеб, фрукты — продукты, которые могли привлечь натуральной деревенской прелестью. Амиши, вероятно, не оставались внакладе. Точно так же, как и российские молокане.

Молоканами их нарекли потому, что члены секты в Великий пост употребляли молоко. Сами же молокане считают, что их учение — «словесное млеко», о котором говорится в Святом Писании. Подобно иудеям, члены некоторых молоканских общин не едят свинину и чтут субботу. Посему еще называются «жидовствующими». Они считают, что Христос не Сын Божий, а их брат, простой человек, в лучшем случае — пророк, просто «умный мужик». А в мирских делах даже уступает другому мужику — Моисею. В этом корень учения молокан — все люди равны между собой, все братья. Возможно, и амиши своим образом жизни близки к молоканам, оберегая собственный мир от суеты.

Новые пассажиры расселись в вагоне и выставили напоказ билеты. Эдди принялся обходить ряды, щелкая компостером и вставляя билеты в отведенную щель.

Амиши ехали до Чикаго...

Эдди возвратился на место, вытер платком черный широкий лоб, напоминающий противень, вздохнул и сказал: «Все!

Теперь можно отдыхать до самого Питтсбурга. Да и там вряд ли кто подсядет».

«Ах ты, брат, заработался», — подумал я. Попробовал бы ты, черно-белый мой проводничок, покрутиться в нашем, российском вагоне — ложки-стаканы пересчитывать да примечать, чтобы пассажир не слямзил. Простыни-наволочки-одеяла-подушки собрать-сдать. И тоже пересчитать, и не один раз, для верности. Лишнее ведро угля у раздатчика выцыганить или купить за свои кровные, а потом титан раскошегарить, иначе тебе пассажир голову открутит за стакан кипятка. Туалет убрать после пассажиров-ссыкунов. А то они все норовят струю мимо унитаза пустить, на пол, говорят: вагон на ходу качается. Что еще? Пассажиров-скандалистов утихомирить. Иной как примет стакан, так буянить начинает, евреев и власть проклинает. Точно скажу тебе, Эдди, работа опасная — того и гляди в ухо схлопочешь. А бандиты, ворюги, что шастают по вагону, — все норовят умыкнуть чемодан или еще что, а к проводнику претензии. Или взять аферистов из немых. Или тех, кто под них косит. Мыча, ходят по вагону, втюхивают пассажирам свой товарец — картишки всякие или просто открытки непристойные... Так скажи мне, разлюбезный Эдди Уайт, кто из вас НЕГР: ты или твой коллега российский, проводничок? То-то. Так что умолкни и сопи себе в две сопелки, как молокане на исповеди...

Я приклеил к лицу стандартную улыбку, поднялся и двинулся вдоль прохода, в туалет. Новые пассажиры оживленно переговаривались на немецком языке. Слух воспринимал резкое рубленое звучание точно команду. Привыкание к музыке чужого языка — процесс непростой, требует определенной адаптации — я имею в виду чисто звуковой ряд, восприятие на слух. Даже если язык более или менее знаком, скажем, тот же английский. Когда говорят американцы — это одно. То же самое произносят афроамериканцы или пуэрториканцы — надрывно, грубо, точно скандалят. Если говорят корейцы или вьетнамцы — звуки шелестят, словно шорох гальки у ручки. Речь японцев и китайцев — словно частые-частые всплески воды от капель дождя.

Внутренние двери вагона открываются с легкостью необыкновенной — стоит прижать ступней широкую планку. Куда удобнее, чем в российских вагонах, когда всем телом

налегаешь на неподатливую ручку. В бытовой отсек вагона смотрят три двери — две от туалетов, третья скрывает душевую «комнату».

Пора вернуться в вагон поезда компании «Амтрак», что мчал меня из Нью-Йорка, и заглянуть если не в душевую, то хотя бы в его туалетную комнату. Что меня там обескуражило более всего? Живые цветы в изящном кувшине, которые стояли подле хрустально-чистого зеркала? Нет. Два сорта туалетной бумаги, розовой и голубой? Нет! Подобное я уже видел в полевом сортире боевой части Армии обороны Израиля в 1991 году на границе с Ливаном, куда забросило меня неугомонное любопытство... Так что же? Горячая и холодная вода? Подумаешь, во многих российских поездах есть горячая вода в туалете, хотя это и вызывает недоумение пассажиров, но только до поры, к хорошему привыкают быстро... Тогда, может быть, мощный пневматический слив в унитазе, что мгновенно очищает хромированную поверхность от нечистот? Нет, нет и нет! Так что же?! Почему в туалете вагона поезда Нью-Йорк — Чикаго я вдруг подумал: «Не запросить ли мне ЗДЕСЬ политического убежища?» Что послужило причиной? А вот что! Из стального контейнера выглядывал кончик тонкой бумаги. Кончик индивидуальной стерильной салфетки для сиденья унитаза! Подложи ее под задницу и усаживайся — никакой опаски, что подхватишь какую-либо неприятность. А сделал свое дело — нажми на педаль, и салфетка с пневматическим воем провалится в тартарары. Вот чего мое воображение долго не могло принять...

Человеку так мало надо

Вечер загнал солнышко к вагонному потолку. Переползая лимонной ящерицей с чемоданов на узлы амишей, солнышко как бы заманивало сумерки в чрево вагона. И сумерки, осваиваясь, обволакивали вагон серой кисеей, в которой, точно в паутине, увязали жучки и мушки — пассажиры поезда компании «Амтрак». Мои — ныне покойные — литературные наставники Леонид Николаевич Рахманов и Геннадий Самойлович Гор неустанно повторяли: не старайтесь писать красиво, это графоманство и, наконец, смешно. А мне

вдруг захотелось быть смешным... Железная дорога пласталась в одном направлении и что удивительно — однопутная, нет параллельных путей. Стало быть, нет и встречных поездов. Вероятно, где-то проходит другая нитка. Чем вызвано подобное «разгильдяйство» — известно лишь проектировщикам. Мне же кажется, что в стародавние времена надобность в параллельной дороге отпадала — поезда ходили редко и, достигнув определенного пункта, возвращались обратно, по той же колее, без помех. А реконструировать старый путь при развитии авиации и автомобильного транспорта, вероятно, смысла не было. Впрочем, Нью-Йорк и Чикаго соединяют еще несколько ниток, и наверняка многоколейных...

За окном, в сизом мареве, завершал свой встречный бег штат Пенсильвания, на краю которого раскинулся город Питтсбург. Я пытаюсь разглядеть в вечерних сумерках контуры знаменитых промышленных предприятий. Но ничего особенного. После внедрения новых технологий здесь, в столице черной металлургии Америки, пейзаж, казалось, сгладился. Лишь кое-где пробивались ввысь трубы, помечая собой непонятные «марсианские» конструкции. Прогромыхал мост через вполне приличную речку Аллегейну, а может, Мононбахиль — город Питтсбург стоит у слияния двух этих рек с такими неуклюжими для слуха индейскими названиями. Сливаясь, они дают начало полноводной Огайо. Залежи отличного угля, нефти, других полезных ископаемых, удобно лежащих близ трех судоходных рек, создали уникальные условия для развития здесь металлургии, тяжелого и транспортного машиностроения. Да и для развития самого города с его тремя университетами, технологическим институтом Карнеги и планетарием Булля, который, кстати, требует чистой атмосферы, не затуманенной смогом, для демонстрации «открытого неба». Стало быть, такая атмосфера есть в этом «промышленном раю»... А еще знаменит Питтсбург своим симфоническим оркестром, звучание которого ублажало слушателей Москвы и Ленинграда еще в застойные времена...

В середине восемнадцатого века в этих местах разодрались французы и англичане. Победив, англичане переименовали французский форт Дюкен в английский Питт. Однако до сих пор в Питтсбурге проживает довольно много людей, корни

которых уходят в Страну белой лилии... Те же корни отчасти унаследовал и человек, о котором я хочу поведать. Он наполовину француз, точнее — французский еврей. Его мать одиннадцатилетней девочкой приехала из Франции в Одессу со своим отцом-чудаком, который решил примкнуть к большевикам, строить светлое будущее. Но его не так поняли и расстреляли, причислив к французским шпионам. Мать по малолетству избежала той же участи и спустя годы вышла замуж за простого рабочего парня. В результате этого брака и родился герой моего повествования — Сэм Кислин, озадачивший со временем питтсбургских сталелитейных королей. Но об этом чуть позже. А вначале мальчик Сема закончил одесскую школу и решил поступить в институт. Приехал в Москву, остановился у родственников и начал испытывать судьбу.

В те годы поступить в престижный вуз молодому человеку с определенной «группой крови» практически было невозможно. Разве что в экономический, на заочное отделение. «Как-никак, а основоположник всей этой бузы тоже был экономистом», — решил Семен и двинул в Плехановку... Спустя срок, преодолев многие жизненные передраги, женившись и родив сына, он осел в директорском кабинете крупного гастронома в самом центре веселого приморского города. И вот в один прекрасный день семьдесят второго года навалилась на Семена тоска. Тут-то и пригодились торговые связи и знание теневых законов страны победившего социализма: Семен быстро оформил документы и через все эмигрантские пороги прибыл в город Бостон. Ничто не предвещало перемен в этот обычный рабочий день на бензоколонке. Подъехал очередной клиент, пожилой господин, и попросил заполнить бак под завязку. Сэм выполнил заказ и прилежно обтер тряпкой бензиновый следок у патрубка бензобака. Хозяин автомобиля оказался разговорчивым. Узнав, что Сэм приехал из Одессы, господин оживился, он был рад встретить земляка своего дедушки. Расспросив о том о сем, господин укатил. А спустя несколько дней на бензоколонке раздался телефонный звонок. «Коллеги» Сэма — черная шантрапа в майках и штанах в гармошку — сразу и не поняли, кого домогаются по телефону из Нью-Йорка...

И Сэм перебрался в Нью-Йорк. В центре Манхэттена, на Пятой авеню, между Двадцать третьей и Двадцать четвер-

той улицами, в первом этаже громадного дома размещался магазин радиоаппаратуры с трафаретом у входа: «Говорим по-русски». Кто только ни заходил сюда, чтобы сторговать по сходной цене телевизор или видеомэгнитофон! Наряду с американцами в конце семидесятых сюда заглядывали дипломатические работники, журналисты, спортсмены. Горячее было местечко. Владельца магазина Сэма Кислина американцы считали советским шпионом, а Советы — американским. Как в анекдоте: «Ни у жены, ни у любовницы, а сам по себе, с газетой на пляже». Впоследствии Сэм даже получил извещение федерального судьи о том, что в те годы, с ведома властей, его телефон прослушивался. Что можно подумать о хозяине магазина, если у его прилавка встречались советский посол Трояновский с израильским представителем при ООН в то время, когда дипломатические отношения между этими странами были разорваны? И не просто встречались «здрасьте-до свидания», а беседовали, и довольно долго. Что там послы?! Однажды в магазин заглянул сам министр иностранных дел Советов, член Политбюро Андрей Громыко, в сопровождении толпы дипломатов. Андреичу понадобился большой двухкамерный холодильник, жена поручила «достать», иначе на лежанку не впустит. Купил министр, расплатился наличными, кредитных карточек тогда у россиян не было. А на прощание сказал Сэму: «Что же вы уехали, мы бы вас министром торговли назначили». На что Сэм ответил косорылому, что он уже был в Союзе завмагом, спасибо. Многие газеты об этом писали, о такой рекламе можно было только мечтать...

Продавцы магазина на Пятой авеню — brave молодые люди — разговаривали между собой по-грузински. А сам хозяин магазина Тимур — некогда житель Сухуми — наследовал бизнес от Кислина по праву бывшего делового партнера. Так магазин и вошел в будни третьей волны эмиграции как «магазин Тимура»...

А Сэм Кислин в то время уже арендовал офис не где-нибудь, а в Эмпайр-стейт-билдинге, символе Нью-Йорка. Сэм точно знал, чего он хочет.

А занимался он торговлей «коммодитес» — любимыми товарами в крупнооптовых партиях: металл, пшеница, сахар, колготки, телевизоры... В одном месте купил, в другом — продал.

Купил в Мексике, продал в Сингапуре. Чтобы продать с прибылью, надо иметь специальные знания, деловую хватку, а главное — интуицию, которой научиться нельзя, это дается с рождением. Рисковый бизнес... Интуиция — половина успеха. Без нее не почувствуешь рынок, не угадаешь, когда можно скупать «коммодитес», когда придержать, когда продать с наибольшей выгодой. Ведь на рынок влияет все: от погоды до чемпионата мира по футболу.

Задумав эту книгу, я решил встретиться с Сэмом. Созвонился. И вот я сижу в его гигантской квартире в самом центре Манхэттена, на двадцать восьмом этаже. Из одних окон виден мой любимый Центральный парк, из других, как на ладони, — Линкольн-центр со зданием Метрополитен-опера... Сэм, в сером спортивном костюме, настроен благодушно, он рад гостю, да и огорчаться нет причин. Сегодня выходной день, можно расслабиться.

— В бизнесе, — говорит он, — важнее всего жена. Мне повезло. Половина моих успехов — это удачная женитьба. Это она вытащила меня из Одессы. — Он прислушался к стуку посуды в столовой: по случаю воскресенья вся обслуга отпущена. — Больше всего я люблю, когда жена возится по хозяйству. Теплые воспоминания нашей молодости. Сейчас мы с тобой отлично посидим. Выпьем, закусим. Что ты пьешь?

— А вторая половина успеха? — Мне не хотелось менять тему разговора, хотя, признаться, любопытно было: что же ест миллионер у себя дома? — Вторая половина успеха — перестройка в России? — повторил я.

— Не совсем. В обороте моей компании на Россию падает не более двадцати процентов. В России размещается часть нашей производственной базы, мы купили в Туле два металлургических комбината. Есть у нас и акции Магнитогорского комбината, заводов в Сибири. Наша компания обеспечивает работой и зарплатой больше полумиллиона россиян. Недавно в Москве вышла книга «Сто ведущих российских бизнесменов». На первом месте Константин Боровой, на втором — я. Почему-то меня отнесли к деловым людям России. Впрочем, могу подчеркнуть, что в одно время моя компания спасла металлургическую промышленность России.

— Слушай, — ошеломленно произнес я, — с чего же все началось? Скажем, в России?

— Со случайности. В жизни случайность имеет огромное значение. Главное, разглядеть шанс, который предоставляет судьба. И правильно использовать... В начале девяностых правительство России пригласило двести ведущих американских бизнесменов в Москву. Я остановился в гостинице «Россия». В ресторане к моему столику подсел человек и предложил купить золотую безделушку. Мы разговорились. Человек оказался из Тулы, бывший работник комбината. Я спросил у него, может ли он помочь отгрузить металл, скажем двести тысяч тонн, на определенных условиях. Человек взял мой телефон. Потом позвонил, сказал, что сможет. Металл есть, но нет сбыта... Я купил этот металл и отправил, кажется, в Чехию, не помню. И заработал очень приличные деньги. Так и пошло... В России деньги валяются на земле, но вам даже лень поднять... Скажем, те же новые русские. В России в основном разбогатели не бизнесмены, а банкиры. И это плохо. Благодаря инфляции, благодаря неповоротливости бизнесменов банкиры срывают большие деньги. Пир во время чумы... В России не могут вести бизнес по-американски. Там не вкладывают деньги в промышленность, опасаясь политической нестабильности, коррупции, преступности. Не соблюдается нормальная пропорция деловых отношений между бизнесменами и теми же банкирами. В результате деньги перекачиваются из кармана в карман, а государство остается с носом. Экономический подъем — сложнейший процесс. Если бы я делал ставку только на Россию, давно бы прогорел... «Транс-коммодитес» — крупнейший поставщик чугуна для металлургической промышленности во всем мире. Только в США мы поставляем миллион тонн чугуна в год, четверть объема всей продукции. Между прочим, каждый десятый автомобиль в Америке изготовлен из привезенного мной металла...

— Будем пить водку, — предложил Сэм. — А к водке — селедочку с отварной картошкой под укропчиком. Эти американцы ничего не понимают в еде, им бы только гамбургеры и пиццу, — балагурил Сэм, разливая водку. — Человеку так мало надо. Никогда не думал, что человеку так мало надо...

Я знал и читал о встречах Кислина с сенаторами Америки и России, с премьер-министрами и членами кабинетов разных стран, с президентом Америки... Я думал о судьбе этого

человека, который «сам себя построил», имея поначалу в кармане восемьдесят долларов...

Я думал о судьбе этого человека, глядя в темнеющее вечерними сумерками окно вагона, мимо которого процеживал свои огни славный город металлургов Питтсбург, на деловую судьбу которого в определенной степени влияет и тот самый человек, что покинул Россию с восьмьюдесятью долларами в кармане.

Бабл-гам

Обитатели вагона поезда компании «Амтрак» готовились к ночному неверному сну.

Я поднялся с места, постоял у кресла, разминая затекшие ноги. Огляделся. Старик с профилем президента Линкольна хлопнул крышкой компьютера и спрямил колени. Коротко взглянул в окно, точно желая убедиться, что мы все-таки едем. Откинул спинку кресла, натянул на голову плотный карнавальный наглазник и уложил затылок на подушку. «Ну и орешек, — подумал я. — Ни разу не встал, даже в туалет не ходил, трудяга...» Старушки — божьи одуванчики — дремали, отвернув в разные стороны свои румяные пасхальные мордашки, тесно прижавшись боками друг к другу, словно сиамские близнецы. Лыжник-свистун склонил висок к стеклу и прикрыл глаза: спал-нет, непонятно... И амиши умолкли, утомились, смиренно склонив затылки; многие так и не сняли свои черные шляпы...

В ропот колес вагона вплеся короткий детский всхлип. Выдержав паузу, всхлип повторился, окреп, и через мгновение об стены вагона забился горький плач. Женщина в белом чепце пыталась уgomонить младенца. Малыш не успокаивался, набирая обороты...

Я опустил в свое кресло, приблизил лицо к окну. Черный глянec стекла вспарывал далекие и близкие огоньки штата Огайо. Неплохо бы заснуть. Но куда там, я и в кровати непросто засыпаю, а тут, сидя, да еще под аккомпанемент плачущего младенца-амиша...

Иногда в законной ночи взгляд отмечал островки снега в распадках равнины. А если приглядеться, то вдали, на про-

светленном у горизонта небе, темнели контуры Аппалачей, долгое время хранивших глубинную Америку от переселенцев, осевших на побережье Атлантики.

Не каждый в ту пору рискнул бы перевалить через дикий и опасный горный хребет... Первыми на это решились французы, еще в семнадцатом веке. Но и англичане положили глаз на плодородные земли. Начались распри. После долгой семилетней войны, в 1763 году вся территория штата — от Аппалачей до реки Огайо — отошла англичанам. А позже, во время войны за независимость, Огайо стал полем отчаянных сражений между англичанами и американцами. Местные индейцы рассудили, что англичане более похожи на будущих победителей — у них армия как армия: вооружены, обучены, хорошо экипированы. Не то что американская шантрапа — то ли солдат, то ли разбойник, вооружен чем попало, одет чуть ли не в лохмотья. Индейцы перешли на сторону англичан, в надежде на будущие блага за вассалитет. Поэтому сражения были отчаянными, кровопролитными и долгими. Победили американцы...

Спустя более двухсот лет штат Огайо вновь прославился на всю Америку — там родился Гарри Стивенс! Это он придумал хот дог — «горячую собаку»: сосиску в булочке, залитую острым соусом. Он выпустил «собаку» на просторы страны, чтобы та собрала для него миллионы долларов. В Огайо родился и Джеймс Риттон — изобретатель механического кассового аппарата. С тех пор стало труднее облапошивать покупателя в магазинах и кафе, за что огромное ему спасибо. Еще в Огайо родился Томас Эдисон. Этому человеку скажут спасибо все люди, кто пользуется «лампочкой Ильича». Огайо послал на Луну первого человека — Нила Армстронга. А парень из Огайо Джон Гленн был первым американцем, облетевшим планету Земля. Кто сказал, что Огайо — дыра, если именно там родились знаменитые актеры кино Кларк Гейбл и Пол Ньюмен? Кстати, забавно: именно Огайо дал Америке президента Уильяма Гаррисона, который, вступив в должность, через месяц умер. А другой президент — Джеймс Гарфилд, тоже из Огайо, став президентом в марте 1881 года, в сентябре того же года был убит. Правда, шесть других президентов из Огайо правили страной вполне счастливо, без неприятностей... Вот и живет штат Огайо в умеренно-влажном климате под девизом: «С Богом мы все осилим!»

А в этот поздний вечерний час в вагоне поезда компании «Амтрак», пересекающем славный штат Огайо, заливался плачем амишский младенец. Но, казалось, вопль его слышу только я один. В сутеми вагона, словно в студне, покачивались в креслах обитатели этого быстрого домика... Но и я вот-вот засну, несмотря на плач младенца. Веки тяжелеют, затылок плотнее втягивается в удобную подушечку... И тут я почувствовал, что

кто-то тяжело плюхнулся в смежное кресло. Скосив глаза, я увидел черный профиль молодой женщины. Той самой, что ехала с маленьким мальчиком. Женщина что-то бормотала. Я уловил проклятие в адрес амишей, которые не могут унять своего младенца, который орет, будто он в своей деревне. Я желчно подумал о том, что в основном именно черный люд в Америке ведет себя беспардонно-крикливо в общественных местах. Однако я ни разу не замечал, чтобы кто-то выразил свое возмущение, — американцы дорожат статьей Конституции о свободе самовыражения...

Поезд притормозил и остановился. В ночной тишине — о блаженство, малыш вдруг умолк — сквозь дрему я расслышал странный звук — пф-п-пф-п — и размежил веки. Слегка приоткрытые вздутые губы моей соседки выпростили серую пленку. Выкругляясь, пленка росла и росла, превращаясь в шар. Коснулась кончика плоского носа и лопнула с противным тихим вздохом — пф-п-ф-п... Чтобы через секунду вновь выкруглиться до размера теннисного мяча. Я ненавидел эту бабл-гам, как называют здесь жевательную резинку, завоевавшую Америку. Дети, подростки, нередко и взрослые, — на улице и дома — выдували шары, уродуя себя до неимоверности, вызывая омерзение и брезгливость. Поерзав, я сдвинулся вправо, к окну. «Куда же она дела своего пацана? — подумал я то-скиво. — И неужели она так и будет сидеть рядом со мной?» От упругого бока моей соседки несло жаром доменной печи. А щека, плотная, накачанная, как бицепс, лоснилась беззаботностью и, казалось, отделялась от лица дурацким шаром, бабл-гамом, чтобы, лопнув, вновь вернуться на место и стать ненадолго щекой. О боже! Я дал себе слово не обращать внимания на соседство, уснуть...

Поезд дрогнул и тихонечко покотился, набирая скорость. Загомонили работяги-колеса... Кажется, засыпаю... И тут я почувствовал тяжесть на своем левом колене. Не просто тяжесть, а легкое поглаживание... Сознание пронзила догадка. Меня охватила дрожь, знакомая многим представителям мужской половины человечества. Я повернул голову и проговорил, выдавливая вязкие слова:

— Есть проблемы, мэм? — от волнения я накинул своей довольно юной соседке лет десять, не меньше, но тотчас же заставил себя улыбнуться оплошности: — Простите... мисс, —

а взгляд уже отметил в щедро расстегнутом проеме кофточки одну грудь, похожую контуром на гондолу дирижабля; вторая грудь кокетливо пряталась в кофточке.

Соседка втянула свой омерзительный резиновый пузырь и низким джазовым голосом произнесла:

— Что-то мне холодно, сэр. Нет ли у вас чего-нибудь выпить?

— К сожалению, — ответил я. — Застегните кофточку, вам будет теплее.

Соседка усмехнулась. Опустила взгляд, словно проверяя разумность моего совета, и ответила тем же игривым тоном:

— Тогда мне будет жарко, сэр.

— Что же делать? — соображал я, как поступить.

А не так она уж и страшна, эта особа, а без своего омерзительного бабл-гама так вообще недурна...

— Неужели вы не знаете, что делать, сэр, — рассмеялась соседка, точно обронила на пол вязанку дров, — когда девушке холодно?

— Представьте, я уже забыл. Годы, мисс, они оставляют свои зарубки.

— Годы, сэр?! — воскликнула соседка как-то особо, как бы воскликнув шепотом. — Вы мне кажется куда моложе моего отца.

— А сколько ему? — промямлил я.

— Отцу? А черт его знает. Кажется, пятьдесят.

— Вы очень добры, мисс. — Я засмеялся и вдогонку пошутил: — Я могу усыновить вашего отца.

— Ха! — Она уставилась на меня дикими черными глазами. — Вас, белых, не поймешь. Кажется, что все одного возраста. Даже с такой сединой, как ваша, сэр.

То же самое я думал и о неграх: после определенного порога, казалось, возраст у них уравнивался. Но промолчал, глупо хихикнув. Вот незадача — свалились на мою голову приключения в полутемном вагоне. Надо решительно пресечь домогательство, я не мальчик. В то же время любопытство путалось в ногах благоразумия, строило рожи и показывало язык: не справишься ты с собой, милый друг, не устоишь, не тяни время — ведь ты никогда не был близок с черной женщиной. Это ж новое для тебя ощущение. Возможно, никогда больше не представится подобный случай. Риск был — эта навязчивая

девица наверняка имела за спиной веселую биографию. А бес нашептывал в ушко: «Это все не про тебя, все эти неприятности могут произойти с другими, а не с тобой. Нормальная девчонка, утомленная скучной дорогой. Увидела белого одинокого мужика. Почему бы и нет?! Они, черные девицы, наверняка охочи до белого господина...» Будто я был единственный белый мужчина на земле, сплошь заселенной темнокожим людом. Мужчинам свойственно преувеличивать свои мнимые достоинства, возможно, оттого, что человек всегда ищет оправдания своим поступкам. И впрямь, седина в бороду — бес в ребро...

Унылая предусмотрительность и блудливое нетерпение затеяли свару в моей душе, а ладони покрылись давно забытой испариной... Эта прекрасная черная грудь, казалось, на глазах принимает еще более совершенные формы и, не выдержав собственной тяжести, вот-вот готова вывалиться наружу...

— Как вас зовут? — Я едва ворочал языком.

— А как бы вы меня назвали? — Ее ладонь вновь оказалась на моем колене, продолжая свою изуверскую пытку.

— Гм... Ну, скажем... Мэри. — Я держался из последних сил.

— О! — Она провела ладонью по моему колену с какой-то хозяйской уверенностью, не стесняясь. — Вы угадали, даже странно. Мое имя Розмари. Но все зовут меня Мэри... Как вы угадали? — по-детски удивилась соседка. — А как вас зовут?

Я назвал. Мэри страдальчески сморщила гладкий лоб, пытаюсь повторить мое имя. Тщетно. В английском языке нет мягкого знака...

— А где ваш мальчик, Мэри? Мне кажется, вы сели в вагон с мальчиком, — продолжал я свое бессмысленное барахтанье.

— Ты много говоришь, Ила... Неужели тебе не хочется меня согреть? — Она повернулась ко мне. Сосок ее груди черным-пречерным наперстком коснулся моей рубашки.

Я испугался. Впервые в жизни я испугался близости женщины. И лишь в следующее мгновение понял причину своего испуга: а не провокация ли это? В Америке, с их судебной системой, подобная провокация не редкость. Еще чуть-чуть — и она закричит, что я покушаюсь на ее невинность, всполошит вагон, придет этот черный, как тень, проводник Эдди Уайт — кстати, куда это он подевался?! Сексуальное домогательство — серьезнейшее преступление, за него и жизни не хватит, чтобы расплатиться... Конечно, провокация! Решила, что у белого го-

сподина, едущего в поезде до Лос-Анджелеса, наверняка есть чем поживиться. Ведь в этой стране, по официальной статистике, — миллион миллионеров...

Злясь на себя, на свою осмотрительность и в то же время не желая расставаться со сладким вожделением, я произнес, падая в долгую паузу после каждого слова:

— Послушай, Мэри... Нельзя мне... заниматься этим делом...

— Почему, Ила? — Ее рука так уверенно путешествовала по моему колену, что остановить ее было невозможно, да и я не хотел, не хватало сил. — Мы можем накрыться твоим плащом, Ила...

— Понимаешь... Я очень болен.

Ее глаза тревожно уставились на меня.

— Нет, ты не подумай чего... У меня больное сердце.

— Только и всего! — воскликнула она с легкомыслием молодости. — У моего отца было больное сердце, так он так справлялся с моей мамашей, что мы с сестрой подушкой накрывались...

— Значит, у твоего папы было не такое уж и больное сердце, — улыбнулся я, чувствуя, как что-то сместилось во мне, стало легче дышать.

— Ну да... не такое больное, — ревниво проговорила Мэри. — Он ведь и умер от сердца, а ты говоришь — не такое больное.

— Видишь, — облегченно вздохнул я. — Ты хочешь, чтобы и я умер? Прямо в вагоне. Представляешь, какие у тебя возникнут проблемы! Думаю, что тебе эти проблемы не нужны.

Мэри слегка отодвинулась. Перспектива превратиться из охотника в жертву была не слишком привлекательна...

— Ладно, Мэри, успокойся, спрячь свои прелести.

Я протянул руку, чтобы хоть напоследок коснуться этого великолепного черного тела. Но тотчас отдернул — даже легкого касания юридически вполне достаточно, чтобы поднять шум и начать сутяжничество в этой законопослушной стране... Мэри засмеялась и легким движением плеча спрятала в глубину кофточки свою бархатную драгоценность...

«Идиот, — казнил я себя, — перестраховщик, трус несчастный. Всю оставшуюся жизнь ты проживешь со щемящим чувством упущенной радости. Старый дурак, воспитанник социалистической системы страха. Американец небось

плюнул бы на все и без разговоров залез в джинсы этой молодки».

Мэри легонько похлопала рукой по моим пальцам, что вцепились в подлокотник кресла. По-женски участливо, с состраданием.

— Ничего, Ила, все будет о'кей. Мой отец отваривал листья муилы. И пил. Два раза в день. Ему здорово помогало, лучше всяких лекарств. Хочешь, я тебе пришлю мешочек этих листьев, оставь свой адрес.

— Что за листья такие? — вяло спросил я.

— Они растут на нашем острове. Мои родители родом с Островов Зеленого Мыса. Там и сейчас живет моя бабушка. Она и пришлет мне листья. А вообще-то их продают на Манхэттене, я знаю.

Мэри поднялась и ушла к своему месту. Точно ее и не было вовсе. За окном царил темный ночной Огайо, никаких огней. Казалось, Мэри не ушла коридором, а просочилась в окно вагона, покрыв стекло своей бархатной кожей... Вскоре она вернулась, неся перед собой какую-то склянку.

— Отпей немного, Ила. Это невкусно, но очень помогает, успокаивает. — Она водрузила на стол склянку и лепешку, сухую на вид, покрытую крупой. Сама же села в кресло...

Я поднес склянку к носу, понюхал. Никакого запаха. Ладно, рискну, выпью, сам напросился... И сделал глоток. Горькая, почти едкая жидкость на мгновение помутила сознание. Глаза застили слезы, раскрытым ртом я пытался ухватить воздух. Отравила?! Я вцепился зубами в лепешку, которую сунула мне в рот Мэри, свалившаяся на мою седую голову с каких-то загадочных островов. Проглотив кусочек твердой дряни, я почувствовал облегчение — горечь пропала, остался привкус перца и легкое дыхание, словно я закапал в нос эфедрин...

— Ну Мэри, ты меня достала, — пробормотал я.

Несколько минут мы молчали. Вернее, молчал я, а Мэри мне рассказывала, что она отдала свой плейер сыну — тот не может уснуть, если в ушах не барабанит музыка. А тут поднял вопль малыш из амишей...

— Ты не думай, Ила, что я специально к тебе подседа. Просто я так разозлилась, что плюхнулась в первое попавшееся пустое кресло. Оно оказалось твоим, — простодушно поясняла Мэри.

— И куда ты едешь сейчас? — спросил я.

— В Кливленд, — ответила Мэри. — А оттуда еще на автобусе. До городка Офборн, штат Мичиган. Там неподалеку тюрьма. Я еду в тюрьму, повидаться с мужем моей покойной сестры. Его зовут Джек. Два раза в год я наведываюсь в эту тюрьму, с малышом.

— Вот как? — воодушевился я, предчувствуя интересный сюжет. — А что же там делает этот Джек? Надеюсь, посиживает где-нибудь в охране, приглядывает за осужденными?

— Вот и нет. Джека посадил федеральный судья Скотт... Джек уже сидит три года. Еще девять лет, и, может быть, его выпустят. Если чего-нибудь еще не сотворит. С Джеком это может случиться, вы его не знаете, сэр.

— За что же его упекли? — спросил я.

— За убийство. Он повинен в смерти моей сестры Жаклин. Это очень грустная история, Ила. Лучше давай тихонечко споем.

— Что?! — изумился я.

— Споем. Негромко. Я часто пела в церковном хоре. Но мне нравится петь спиричуэлс. Я пела вторым голосом. А первым пела бедняжка Жаклин. Конечно, когда была еще жива.

— Понимаю, — кивнул я. — И за что он ее убил?

— Он ее не убил, Ила. Он только повинен в ее смерти. Она сама себя хлопнула, дура. Чтобы мне отомстить.

— Хорошенькая месть, — пробормотал я. — Петь я не буду, Мэри, нет у меня голоса. Если я запою, меня амиши выбросят в окно. А в Огайо я никого не знаю.

Мэри засмеялась, достойно оценив мою шутку.

— Ты лучше расскажи, что стряслось там с бедняжкой Жаклин, твоей сестрой. И этим сорванцом Джеком, ее мужем?

— Сорванцом! — усмехнулась Мэри. — Его боялись все в Джерси-Сити. От улицы Монтомери, где проживают черные, до белого Байона. Хорош сорванец...

— Так вы жили в Джерси-Сити? — обрадовался я. — Я частенько прогуливался в тех местах. По ночам, чтобы сон нагнать. И вправду там живут черные, я обратил внимание. Но никто никогда меня не трогал.

— Потому что Джек сидит уже три года, — утешила меня Мэри. — Он не очень-то любит белых. Из-за них, он считает, все несчастья. Покойная Жаклин ему говорила, что если бы не президент Кеннеди, то он до сих пор сидел бы на дереве...

Джеку это не нравилось. Конечно, кто потерпит такие слова от жены, верно, Ила?

Я кивнул. Действительно, кто потерпит такие слова?

— Так что, он ее из-за этого прихлопнул? — все допытывался я.

— Какой ты непонятливый, Ила. Я же сказала, что он ее не убивал. Все произошло из-за меня.

— Из-за тебя можно, — буркнул я. Во мне вновь возникло коварное искушение: воистину, раздвоенность — удел слабовольного человека.

Мэри никак не отреагировала на мою фразу и лишь тяжело вздохнула:

— Грустная история, Ила... Я тебе расскажу.

И она мне рассказала. Этот парень Джек — из африканских мусульман, он женился на старшей сестре Мэри, когда ему и Жаклин едва стукнуло шестнадцать лет. Они для этого специально поехали в штат Джорджия, там женят с шестнадцати... Родители были против, но ничего не поделаешь — Жаклин забеременела. Но после свадьбы она сделала аборт — решила пойти учиться, а с ребенком, сам понимаешь... Джек жутко расстроился, он хотел ребенка. Они прожили девять лет. Джек трудился день и ночь, но Жаклин не беременела. И очень переживала — она ужасно любила мужа и боялась его потерять. И с учебой у нее ничего не вышло. Джек, досадуя на бесплодие жены, лупил ее чуть ли не каждый день — все требовал ребенка. Но ничего у Жаклин не получалось после того первого ее аборта... И тут Мэри пришла в голову мысль — она нередко слышала о таких делах: Мэри решила родить ребенка для сестры. От ее мужа. Решила и сделала... Но когда родился малыш, Мэри передумала отдавать его сестре. И тайно укатила в Монтану, к двоюродной тетке, у той была ферма с козами. Тетка промышляла козьим молоком и неплохо зарабатывала. Мэри ей помогала... А Джек совсем рассвирепел. Он вообще хотел пережениться на Мэри. Или иметь двух жен — им, мусульманам, по религии можно. Но Мэри-то исчезла, прихватив малыша... В гневе Джек разнес всю халабуду на улице Берген и даже покалечил соседей, которые заступались за стариков родителей. Джека арестовали, но вскоре выпустили по просьбе Жаклин... Но однажды, после очередного буйства мужа, Жаклин выскочила в бэк-ярд, облила себя бензином и подо-

жгла. Так и сгорела на заднем дворе. Джека арестовали и дали ему срок за понуждение к самоубийству. Вот он и сидит...

Поезд прибыл в Кливленд рано утром, в семь тридцать. Точно по расписанию. Эдди Уайт, напялив форменную фуражку, сбросил вспомогательную лестницу — уровень платформы почему-то был ниже порожка двери вагона — и, сонно улыбаясь, помог своим пассажирам сойти. Где Эдди проторчал ночь — непонятно, вероятно, кемарил в каком-нибудь отсеке.

Я помог Мэри снести вниз баул и, опередив Эдди, снял с площадки малыша. Следом на платформу спрыгнула Мэри. Ее милое черное лицо сияло. Изо рта выдувался очередной бабл-гам. Я с удивлением подумал, что этот резиновый мяч мне уже не кажется таким противным...

Мэри нагнулась, одернула на мальчике его яркую курточку и, выпрямившись, сказала мне с улыбкой:

— Жаль, Ила, что у тебя больное сердце.

— Ничего, Мэри, — ответил я, не скрывая вздоха. — Надеюсь, что у Джека с сердцем все в порядке.

— И не думай. — Мэри ухватила ушки баула. — У меня с Джеком ничего не может быть. Я не прощу ему свою сестру Жаклин. Покажу ребенка и вернусь домой. Пусть он со своей резиновой девочкой балуется, им специально в той тюрьме для этого дела выдают комплект...

Я ткнулся губами в упругую солоноватую на вкус щеку моей ночной искусительницы. Мэри тронула ладонью мою шевелюру:

— Оказывается, у тебя такие мягкие волосы, Ила...

А с высоты вагонного тамбура на нас смотрели удивленные глаза проводника Эдди Уайта.

Мэри подхватила малыша, привычно разместив его под мышкой, точно свернутый коврик, другой рукой приподняла баул. И пошла, не оглядываясь, вдоль платформы, покачивая широкими бедрами, чей напор едва сдерживали крепкие джинсы. Сделав несколько шагов, она обернулась и крикнула, что забыла взять мой адрес. Куда же ей послать листья муилы с Островов Зеленого Мыса? Я ответил, что постараюсь разыскать эти листья на Манхэттене. И помахал рукой...

Эдди Уайт слегка отстранил меня от проема, чтобы закрыть дверь.

— Большой город, этот Кливленд, сэр, — проговорил Эдди. — А такая короткая стоянка.

Саша Серебренников

Кливленд и впрямь большой город. А хотите — Кливленд огромная деревня, которая вдруг решила стать городом. В силу этого обстоятельства ландшафт типового американского города со вздыбленными небоскребами несколько угрюм, задумчив и в то же время по-деревенски прозрачен...

Поезд двигался медленно, вынюхивая среди путаных стальных тропинок свою, ведущую в Чикаго. И вдруг остановился, точно потерял след. Мне казалось, что среди стойбища вагонов, рефрижераторов, платформ, стоящих на параллельных путях, вот-вот появится Мэри с ребенком под мышкой и неизменным бабл-гамом под приплюснутым боксерским носом. В истории, рассказанной Мэри, не было ничего необычного. Такими и подобными историями полнятся газеты и телевидение. Но память почему-то хранила одну деталь: Мэри помнила фамилию федерального судьи, который приговорил Джека к тюремному заключению... Наверное, его судили в том самом здании суда, что стеклянной громадой возвышался неподалеку от моего дома в Джерси-Сити. Даже два судебных здания: одно для ведения уголовных дел, другое — для гражданских.

Америка — страна судей, адвокатов и прокуроров. Суд решает все вопросы, волнующие граждан. От тяжбы с владельцами магазинов, на пороге которых граждане поскользнулись и расквасили нос (отсуживая после этого немалые деньги), и до претензий к президенту страны. Судья Сьюзан Веббер-Райт обвинила президента Билла Клинтона в неуважении к суду. Впервые в истории Америки высшее лицо государства обвиняется в том, в чем он как президент является образцом безупречности. Дело было возбуждено в связи с «сексуальным скандалом» любвеобильного президента, скандала, всколыхнувшего всю Америку. «Имеются ясные и убедительные свидетельства того, что президент, отвечая на вопросы истицы, давал ложные, вводящие в заблуждения, уклончивые показания с целью воспрепятствовать правосудию, — и далее судья Сьюзан Веббер-Райт утверждает: — Еще ни один президент не был признан виновным в неуважении к суду. Суд отнюдь не испытывает удовольствия от того, что выносит такой вердикт президенту, но он таким же образом поступит с любым

обвиняемым в гражданском процессе. Санкции должны быть применены не только в наказание за проступок президента, но и в назидание другим, которые вознамеривались бы подражать президенту в неподобающих деяниях, подрывающих юридическую систему...» Кстати, судья Сьюзан Веббер-Райт в свое время была ученицей Билла Клинтона, когда тот, еще не будучи президентом, преподавал ей морское право на юр-факе Арканзасского университета. Такие вот дела...

Американцы чтут свой суд. В целом. По большому счету. Но не всегда так было. Даже наоборот, было время, когда суд в Америке вершил лишь правосудие, без того «человеческого уважения» к себе, что отличает суд сильного демократического государства, в основе которого лежит уважение к нему собственных граждан. Простой человек может быть недоволен судом — бюрократия, длительное производство, мздоимство, — но он верит, что существует Божий суд, а по дороге к Божьему суду в Америке есть Верховный суд. Если достучаться до него, то дело непременно получит ту оценку, которую заслуживает. Если достучаться... Так что есть надежда, а это очень важно для демократии, для ответственности правительства перед своим народом...

В 1834 году главой слабого коррумпированного Верховного суда был назначен Джон Маршалл. Кто мог подумать, что этот внешне ничем не приметный мужичок, знаток пунша и карточной игры, самолично ходивший вместо жены на базар и споривший с продавцами из-за каждого цента, любитель метания на дальность лошадиных подков, превратит Верховный суд Америки в мощный и величественный трибунал. При нем Верховный суд занял такое же место в жизни страны, как президент и Конгресс.

Маршалл был великий судья. Его постановления, простые по стилю, основаны на огромной эрудиции и тонком анализе. Повезло Америке. Вообще, Америке везло на мудрых государственных деятелей несравненно больше, чем другим странам, особенно в годы становления, в самые важные годы, когда закладывались основы государства. Но Джон Маршалл был больше чем великий судья. Он был великим конституционным государственным деятелем. Разрешив около полусотни дел, связанных с вопросами конституционного порядка, Маршалл действовал на основании зрелой политической философии. И коснулся почти всех важных положений Конституции. Тем самым он превратил Конституцию из свода правил в живой организм, работающий на благо Америки. После Маршалла судьи страны старались толковать Конституцию, как толковал ее Джон Маршалл, человек ясного ума и кристальной чести...

Я прочел об этом замечательном человеке в книге американских авторов, переведенной на русский язык, «История США». На обложке стояла фамилия редактора книги: А. Серебренников. Тот самый Саша Серебренников, мой сосед по этажу, квартира которого была смежной с нашей. Невысокого роста, узкоплечий, с лысой шишковатой головой, которая выглядела слишком крупной для его утлой мальчишеской фигуры. С вечной сигаретой во рту — он и умер от рака легких, сгорел. На его похоронах, казалось, собрался весь эмигрантско-диссидентский Нью-Йорк. После смерти Бродского и Довлатова ни одни похороны не собирали такого количества русских эмигрантов... «Кто же теперь будет помогать нам, если что сломается в доме?» — сокрушались соседи. Саша подрабатывал тем, что строгал-заколачивал всякую деревянную дребедень, да и по электричеству он считался докой. Еще Саша подрабатывал уборкой помещений в маленьком медицинском офисе. Подрабатывал, чтобы иметь возможность работать бесплатно в той области, которой он был предан всю свою сознательную жизнь, ради которой он, в сущности, и эмигрировал из России. Он был писателем по призванию и историком по образованию. В основе его писательства лежали историко-философские проблемы... Я любил сидеть в его квартире среди надежных, хорошо сработанных книжных полок, набитых бесчисленным количеством ценнейших книг. Саша, в неизменных стиранных джинсах подросткового размера, ставил перед гостем кофе. Он готовил особенный кофе, горечь этого кофе соперничала с крепостью табака его сигарет. Разговор обычно вращался вокруг политико-экономических проблем России, давно покинутой Сашей. Но нет-нет да и разговор касался других тем, также привязанных к России, тех, стародавних, времен шестидесятых — начала семидесятых годов, которые предшествовали Шашиной эмиграции...

— Прихожу я как-то домой. Припозднился. А на моем топчане спит мужик. Приглядываюсь... Батюшки, да это Исаич! — Саша придвигает ко мне сахарницу с наколотым по-русски сахаром. — Ну я тихонечко ушел к друзьям ночевать.

— Кто спал на топчане? — прикинулся я.

— Александр Исаевич Солженицын... Его первая жена — Наташа Решетнянская — приходилась двоюродной сестрой Веронике Штейн, в семье которой я и жил в Москве. Своей

квартиры тогда в Москве у меня не было. Так мы с Александром Исаевичем и делили тот топчан, когда Солженицын приезжал из своего Ярославля по делам в «Новый мир». С тех пор я и повязан с Исаичем...

Я знал об отношениях Серебренникова и Солженицына, рассказывали знакомые. Да и сам Саша делился не раз. Как-то он наведался ко мне с предложением съездить в магазин на Манхэттен — телевизор купить «у Тимура»: там по-русски понимают... Надо отметить, что Саша неплохо разговаривал по-английски, а понимал и читал — еще лучше, иначе как бы он работал в американских архивах. Но при этом он умудрялся, живя в Америке, практически не общаться ни с кем на английском. Избегал. Конечно, на бытовом уровне без языка нельзя было обойтись, он и не обходился. А так — обходился, вернее, старался обходиться. «С кем мне разговаривать? — оправдывался он. — Друзья мои — русские. Девки? Тоже русские. Все в порядке!» Он по-детски вглядывался в собеседника большими карими глазами и улыбался всем своим смуглым скуластым лицом, собирая ямочки и морщинки...

— А деньги-то откуда? — спросил я. — На телевизор.

— От Исаича получил, — не без гордости пояснил Саша. —

За труды.

Саша особенно не распространялся о деталях своей работы. Но мир слухами полон... Саша, благодаря своей страсти к архивной работе, по просьбе Солженицына собирал исторический материал. Систематизировал. И раз в квартал отправлялся с добычей в Вермонт, где жил тогда Солженицын с семьей... Большая, серьезная работа профессионала. Его проникновение не только в документ, а в самый дух эпохи, в бытовую каждодневность того времени было феноменальным, поражающим своей достоверностью. Помню, Саша рассказывал мне, куда и зачем пошел помощник Столыпина решать какое-то поручение министра. И во что он был одет, и что держал в руках... В ответ на мой недоверчивый взгляд Саша красочно обрисовал не только ситуацию, но и помещение, в котором происходило действие: количество ступенек, ведущих в соседнюю комнату, цвет и рисунок обоев, погоду в тот день и прочее, и прочее. Не оставалось никаких сомнений в том, что помощник министра мог поступить так и только так... Может быть, именно Саше и обязан Солженицын художественной достоверностью некоторых эпизодов в своих исторических романах...

Когда в конце шестидесятых начались гонения на Солженицына, последовали гонения и на его знакомых, друзей. Сашу «ушли» со студии документальных фильмов, где он в те годы служил. Саша по-своему распорядился своим свободным временем. Он вместе со своим приятелем взял на себя заботу по «негласной охране» Солженицына. Он и его приятель следовали за ним по пятам днем и ночью, рассчитывая, что комитетчики не решатся прибегнуть к репрессиям в присутствии посторонних людей. Наивные молодые люди... Прикажут — возьмут хоть черта в гастрономе. Видно, не приказывали. Тем не менее поступок Саши и его приятеля, Юры Штейна, в те мрачные времена вызывал уважение. Саша даже с женой своей развелся, съехал с квартиры, чтобы не навлечь на нее подозрения органов. Такая у него натура: если он причиняет кому-то страдания — беда, если сам страдает из-за кого-то — нормально, ничего особенного.

После высылки Солженицына подался в эмиграцию и Саша. С одним рюкзачком за спиной — таможенники удивлялись, искали подвох... После смерти Саши вся его бесценная библиотека, погруженная друзьями в контейнер, ушла океаном в Россию, Солженицыну, — лучшей пристани ей не найти. Памятник Саше на кладбище был установлен с помощью Александра Исаевича...

В начале шестидесятых в Ленинграде гастролировал Кливлендский симфонический оркестр. Сенсация — американцы приехали! Вот они сидят со своими АМЕРИКАНСКИМИ инструментами на сцене филармонии. И вроде нормальные люди. Есть среди них и черные лица. Так же концертно одетые, как и белые. Ну дают! Неужели это все «не понарошку», неужели — настоящие американцы? Чудо... В свою очередь оркестранты смотрели в зал, и взор их выражал не только величайшее любопытство, но и какое-то сострадание и жалость. Так мы и глазели друг на друга, подобно посетителям зоопарка. Только странно как-то было: откуда мы смотрели — с улицы в вольер или из вольера на улицу? Нам и невдомек тогда было, что американцы эти знали о нас гораздо больше, чем мы о них. К тому времени они уже прочли книги, о существовании которых мы узнали значительно позже, с начала диссидентского движения, во второй половине шестидесятых годов, после процесса над Синявским и Даниэлем. В те времена только и начала всплывать в России «теневая» литература о страшной судьбе, постигшей страну и ее народ после Октябрьского переворота. Эта несанкциони-

рованная правда была куда страшнее, глубже и масштабнее, чем откровения Хрущева на Двадцатом съезде партии. Размноженные на пишущей машинке, на папиросной бумаге, «книжки» передавались тайно друг другу; читать их, а тем более печатать было делом опасным, грозящим 70-й статьёй УК РСФСР — антисоветская пропаганда и агитация, — чреватым многолетними лагерями и ссылками. Так что наш народ многого не знал, а американцы знали и смотрели со сцены филармонии в зал с удивлением, состраданием и любопытством. Со временем в России стали появляться и печатные издания книг. Небольшого формата, на тонкой бумаге, набранные мелким шрифтом... В домашней библиотеке Саши Серебренникова скопилось множество таких книг. Однажды, во время моего гостевания, Саша дал мне адресок: приходи, сказал он, подберешь что-нибудь по душе...

Я шел по Парк-авеню, одной из прекрасных улиц Нью-Йорка, которая отличалась от иных своим двусторонним автомобильным движением. Шел вверх, в ап-таун, от железнодорожного вокзала Гранд-Централ, что плотиной разделял Парк-авеню, возвышаясь над упрятыми под землю рельсами, пропускающая сквозь свой каменный торс, как сквозь туннель, не только пешеходов, но и автомагистрали. Шел мимо знаменитого отеля «Уолдорф-Астория», престижного прибежища королей, принцев крови и прочей знати. Шел мимо каких-то гигантских билдингов, стеклянные стены которых прятали целые парки; под сенью их размещались кафе, рестораны, аллеи для отдыха, вращались стенды с последними моделями автомобилей. Прозрачные кабины лифтов выставляли напоказ своих пассажиров, вознося их в поднебесье... Один из таких билдингов и был обозначен в моем «адреске». Швейцары в золоченых ливреях окинули меня безучастным служебным взглядом и указали лифт, который обслуживает тридцать девятый этаж. Коридор этого этажа своими глухими стенами напоминал бункер, нужная мне дверь притулилась в самом конце, помеченная номером и едва заметной кнопкой звонка. Когда дверь отворилась, я обомлел — на пороге стоял Саша. В ответ на мой изумленный возглас он сказал, что это и есть его работа...

Несколько комнат были забиты книгами. Они стояли на стеллажах, лежали в ящиках, на подоконниках, просто на полу. Всюду книги. От «карманных» изданий солженицынского «Архипелага» и «Красного колеса» до «Православия

и свободы» Аксенова-Меерсона... Глаза разбегались. Некоторые названия книг мне были уже знакомы из ночных бдений у радиоприемника, когда удавалось что-то разобрать в вое глушилок, но большинство было вовсе незнакомо. Политико-философские издания выстроились в алфавитном порядке вперемежку с томами Ахматовой и Мандельштама. Здесь были книги с репродукциями Давида Бурлюка. Здесь были «Партократия» Авторханова и «Номенклатура» Восленского. Коран и Библия... Книги издательства «Посев» и «Ардис»... Саша протянул мне крепкий бумажный мешок и предложил отобрать то, что меня интересует. Совершенно бесплатно. Можно пользоваться стремянкой или табуретом. Вначале, ошавев от жадности, я складывал в мешок все подряд. Потом поостыл, занялся отбором.

— Возьми «Историю США», — посоветовал Серебренников. — Эту книгу я редактировал и издавал в своем издательстве «Телекс»... у себя дома.

Он показал мне и другие книги «Телекса»: «Петербургские дневники» Зинаиды Гиппиус, «Красный террор в России» Сергея Мельгунова, «Убийство Столыпина» Александра Серебренникова...

Ай да Саша! Столяр и плотник, а также электрических дел мастер... С Парк-авеню книги тайно вывозились в Россию, где разносили слова правды о временах безвинной гибели миллионов россиян. В тюрьмах, психушках и лагерях. Конечно, американцы вряд ли знали о тихом пересыльном пункте на Парк-авеню. Им вполне достаточно было шикарных книжных магазинов, разбросанных по всей Америке, где продавались эти книги на английском языке. Поэтому и глядели на нас, сидящих в зале филармонии, с таким участием и состраданием. А мы на них — с изумлением, точно поглядывали из-под бахромы железного занавеса: это ж надо, настоящие американцы...

Свобода... блин

Передохнув, поезд вновь тронулся, выбираясь из стойбища вагонов и платформ на верный путь к Чикаго. В стекло ударило несколько приبلудных капель дождя, скукоживших и без того скупую панораму Кливленда — города, названного в честь двадцать четвертого и двадцать шестого президента

Америки Гровера Кливленда, чей светлый образ запечатлен на тысячедолларовой купюре. Единственного президента страны, избранного дважды, но с перерывом между сроками правления... Вместе с тем президент Гровер Стивен Кливленд, пятый ребенок пресвитерианского священника из небольшого городка в штате Нью-Джерси, вошел в историю Америки как президент, при котором был официально открыт один из самых главных символов Америки — статуя Свободы.

На самой оконечности Манхэттена, в даун-тауне, разместился красивейший уголок Нью-Йорка — Беттери-парк. Отсюда, с пристани в парке, отправляются прогулочные катера к маленькому острову Бедлоу в устье реки Гудзон, на котором и высится эта стальная дама с факелом в поднятой руке. На свет этого факела я обратил внимание в первый свой приезд — из окна квартиры в Джерси-Сити был виден в ночи далекий светлячок. А утром, едва продрав глаза, я бросился к окну, прихватив бинокль. При двадцатикратном увеличении четко рисовались все семь лучей ее короны, символизирующие семь частей света. Это потом уже, переплыв Гудзон на катере, я поднялся в лифте к пьедесталу статуи, откуда по винтовой лестнице в сто семьдесят ступенек взобрался на смотровую площадку, размещенную на короне «железной леди». Отсюда, с высоты почти ста метров открывалась величественная панорама нью-йоркской гавани...

Давно это было. Приближался столетний юбилей Америки. И многие их тех, кто понимал значение этой страны для Земли людей, хотели чем-то отметить историческую веху в судьбе человечества. Но всех перещеголял французский скульптор Фредерик-Огюст Бартольди, задумав осуществить грандиозный проект. В 1871 году мсье Бартольди посетил Америку, осмотрел побережье Манхэттена и выбрал для своего замысла островок Бедлоу. Вернувшись домой, скульптор приступил к работе, уговорив служить моделью свою родную матушку. Представить только, как измучилась мадам Бартольди, пока ее Фредерик подбирал наиболее выразительную позу первой глиняной модели. Важно было найти точные пропорции. Одну за другой скульптор вылепил три гипсовые модели и наконец-то, удовлетворенный, прекратил свой поиск. К работе подключился другой неугомонный француз, инженер Гюстав Эйфель. Тот самый Эйфель, чье имя впоследствии было прославлено знаменитой парижской башней, — именно создание сложнейшей стальной конструкции статуи Бартольди заставило французское правительство поверить в гениальность инженера Эйфеля и доверить ему дорогостоящее сооружение символа современного Парижа...

Четвертого июля 1884 года правительство Франции торжественно объявило, что статуя Свободы — дар французского народа Североамериканским Штатам. И двухсотридцатитонная стальная громада в разобранном виде отправилась на военном корабле в Новый Свет, к маленькому острову Бедлоу. Но еще не был готов двадцатисемиметровый пьедестал, не хватало денег — призыв к американцам о добровольном пожертвовании не нашел поддержки. Тогда за дело взялся известный журналист Джозеф Пулитцер. В пространной статье он укорил соотечественников в том, что любовь к деньгам у них превышает любовь к родине. Будучи неплохим психологом, Пулитцер пообещал выгравировать навеки фамилии жертвователей на пьедестале статуи независимо от суммы, указанной в денежном чеке... Наконец, 28 октября 1886 года, под залпы артиллерийского салюта, президент Гровер Кливленд отдал приказ снять покрывало. Сотни тысяч людей стали свидетелями исторического факта — рождения гигантской статуи-аллегии Свободы: женщина в хитоне с горящим факелом в поднятой руке. В короне, пронизанной семью лучами... А вдоль величественного пьедестала пластались слова из сонета Эммы Лазарус: «Придите ко мне уставшие, придите несчастные и бедные, придите загнанные жизнью, придите все жаждущие вздохнуть свободно».

Эмигрантке из России, поэтессе Эмме Лазарус не повезло. Ее слова были выбиты на цоколе бронзового пьедестала после смерти молодой поэтессы. Но несколько строк сонета навеки запечатали ее имя в американской истории...

Итак, город, оставшийся за окном вагона, был назван в честь президента, во время президентства которого свершилось великое событие в истории страны.

«Утро печальное, утро седое. Нивы безмолвные... — как там, в прекрасном романсе? Не помню... ах да: Снегом покрытые...» За окном точно как в романсе. Словно поезд пересекает Воронежскую область ранней весной. Лишь английские слова на встречных строениях возвращают меня к реальности. Через два с половиной часа, согласно расписанию, закончится штат Огайо и начнется штат Индиана — самое сердце Америки.

Из кармана плаща торчит уголок газеты «Новое русское слово», так до сих пор я и не удосужился просмотреть прихваченный в дорогу номер. Но все исправимо. Развернув газету, прочел броский заголовок: «Чикагские Ромео и Джульетта». Под заголовком две фотографии. Тонкое высокоскулое девичье лицо с крупными улыбчивыми глазами обрамлено гладко зачесанными светлыми волосами, а рядом лицо молодого человека — открытое, бровастое, белозубое, с крепким волевым

подбородком, помеченным детской круглой ямочкой. И вот я читаю: «Дэвиду Бувелеру было девятнадцать лет, а Кэти Санч — восемнадцать. Они жили в Чикаго. Семейство Бувелеров — убежденные протестанты, а семейство Санч — набожные католики. Отец Дэвида — владелец небольшого, но преуспевающего издательства, отец Кэти — автомеханик в гараже. Молодые люди полюбили друг друга, но не проходило и дня, чтобы родители не попрекнули их за это. Бувелер-старший грозился лишить Дэвида наследства, если тот женится на католичке. Мама Санч твердила Кэти, что дочь совершит смертный грех, если выйдет замуж за еретика-протестанта. Дэвид и Кэти всегда были хорошими детьми и уважали родителей. Они решили сочетаться законным браком, а потом уйти из этой постылой жизни... Жених был в смокинге, невеста в белом подвенечном платье с фатой. На церемонию бракосочетания собралось двадцать два человека, не было только родителей и родственников, но их никто и не ждал. В кармане смокинга Дэвида лежала записка, а в сумочке Кэти — два совершенно одинаковых пистолета тридцать восьмого калибра. Церемония была не церковной, а светской, и чиновник муниципалитета наскоро провозгласил мистера и миссис Бувелер мужем и женой. Молодожены поцеловались, обменялись кольцами и скромно отошли в сторону, чтобы им никто не мешал. Кэти открыла сумочку, один пистолет протянула мужу, другой взяла сама. На глазах гостей каждый из них пустил себе пулю в голову. Они были супругами не более трех минут. В записке, обнаруженной у Дэвида, — фотокопия помещена в газете — говорилось: «Мы знаем, что принадлежим друг другу, и Господь соединил нас. Но мы знаем и то, что никогда не будем счастливы на этой земле, так как наши семьи против нашей любви...»

Я вглядывался в их прекрасные юные лица. Совсем еще дети. На глаза набегали слезы. Воображение мое рисовало образы тех юнцов из Вероны, история которых известна миру благодаря гениальному Шекспиру. Вот какими они были на самом деле, вот их фотография, как бы пришедшая к нам из глубины веков. Можно ли найти более веские доказательства их чувств друг к другу, чем те, которые предъявили миру эти двое — Кэти и Дэвид Бувелер... Нет в моем сердце оправдания тем, кто толкнул этих детей к столь трагическому доказательству искренности и силы своей любви. Ни оправдания,

ни прощения! Разве любовь к своему Богу требует таких жертв?! Нет, здесь не любовь к Богу, а слепая вера в безгрешность собственных истин. И эта вера сильнее любви к Богу. Эта вера может сотворить самое страшное зло...

Еще я подумал вот о чем. Если в далеких отсюда краях религиозная и национальная вражда отчасти замешана на трудностях жизни, то почему так бурно она проявляется и здесь, в «благословенной Америке», где по замыслу отцов-основателей межнациональная и расовая дискриминация поставлены вне закона?! Чудеса фантазии проявил Господь, когда создавал свое Земное Воинство: и разные национальности, и разные цвета кожи, и разные формы носа и курчавость волос, и разный цвет глаз, и разный образ мыслей... Однако в итоге трудами Его воспользовался дьявол, чтобы посеять среди людей семена вражды и ненависти. Каждое лыко дьявол вставил в строку, ничем ему не угодишь: коротконосые презирали длинноносых, и наоборот; черноглазые кланут голубоглазых, и наоборот. А о национально-религиозной вражде и говорить нечего. Ярость вызывает факт, когда наиболее оголтелое проявление вражды возглавляют религиозные деятели. С амвонов церковей, мечетей, костелов и синагог — проповедуя любовь к ближнему и всеобщее равенство — сыплют на головы слушников проклятия. Ненависть объединяет людей прочнее любви. В ненависти люди сбиваются в стаи — так проще, нет виноватых, все равны, одна злость на всех. Любовь же требует уединения, несуетности, у каждого своя любовь... И после подобных проповедей многие люди выносят не смирение, а злобу — они знают, кто их враг, знают, как с ним поступать. Надо лишь дождаться удара колокола. Но как показывает опыт человечества, злоба оборачивается самоуничтожением. Таков ее удел. Человек по своей природе — хищник, запах крови его пьянит, отбивает память. В этом есть изощренная каверза дьявола. Преступник, затеяв преступление, убежден, что он удачливее других...

Много раз по дороге к метро я проходил мимо тяжелого аляповатого фасада бывшего концертного зала. По воскресным дням у массивных стеклянных дверей толпился народ, преимущественно негры, хотя и белокожего люда было предостаточно. Все прекрасно одеты, с иголочки. Особенно умиляли дети-негрятята. Мальчики в костюмчиках и обязательно при галстуке, девочки в ярких платьях и с бантом на курчавых головках.

Как-то меня окликнул мальчуган в сером элегантном костюме, белый воротничок рубашки бритвой подсекал темно-коричневую шею. Я взгляделся. И с трудом узнал — это ж Стив, мой сосед-филиппинец, паренек лет пятнадцати, шныряющий обычно по улице в приспущенных гармошкой широких штанах, в майке, по моде, навывпуск, чуть ли не до пола, в вывернутом на сторону кепаре с длинным козырьком. Стив чем-то напоминал мне старину Гекльберри Финна... А сейчас — настоящий франт. Стив подмигнул заговорщицки и повел скулой в сторону концертного зала: мол, не туда ли я направляюсь — что это я нарядился в костюм, а не в свои наждачно-грубые джинсы? Я, кивнув и в одночасье переменяв свой план, затесался в толпу, увлекшую меня в фойе бывшего концертного зала...

Мистер Стенли, владелец зала, был человеком праведным. Он не поддался искушению дьявола в лице итальянской мафии, он проявил стойкость духа. В результате чего в центре Джерси-Сити вместо богопротивного казино появился молеальный дом секты «Свидетели Иеговы». Шесть тысяч волонтеров не покладая рук трудились в течение трех лет над реставрацией обветшалого здания. И построили дворец, в полном соответствии с собственным представлением о грядущем — после Армагеддона, когда каждому воздастся по его заслугам, — о грядущем счастье человечества. Настало время — считают «свидетели» — пересмотреть основы Ветхого и Нового Заветов. Основы эти за тысячелетия устарели. И единый Бог всего сущего, Иегова, требует от людей «человеческих» отношений между собой. Хватит мордовать друг друга, хватит бедствовать, болеть и мучиться. Земля богата и мудра, земля, по воле Иегова, может дать людям все, что требуется для вечной жизни. Ибо, как сказано в Библии: «И мор проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». В чем отличие учения «Свидетелей Иеговы» от традиционного учения? Иегова как Бог, как Творец не заостенел в своих помыслах, он знает новый путь к всеобщему благу. Рай — это не жизнь на небесах, рай должен быть на земле. И люди могут его себе создать, с Божьей помощью. Обновление это Бог передает людям через Сына своего Христа — кроме всего прочего и через его внешний вид.

Христос представлен у «свидетелей» не как мученик, а как сильный, красивый, энергичный мужчина, напоминающий

чем-то киногероя Кирка Дугласа из фильма «Спартак»... Сюжет центральной картины в роскошном холле бывшего концертного зала — встреча Христа с самаритянкой, кстати, напоминающей осанкой и профилем кинозвезду Элизабет Тейлор. Схожесть эта, видимо, должна приблизить верующих к реальной жизни. Все детали картин на библейские сюжеты перемежаются с приметам реальной жизни, но в особо красочном, лубочном исполнении. Замысел доходчив, как детский рисунок... Этой идее подчинено и оформление гигантского молельного зала. Стены пятитысячеместного помещения представляют собой объемную декорацию улицы провинциального городка: коттеджи с балконами, эркерами, уютно освещенными окнами, даже действующий фонтан. В центре зала городская площадь с амвоном для проповедей, перед которым размещен бассейн для крещения в водной купели вновь обретенных «свидетелей Иеговы». Но самое удивительное — это свод зала. Покрытый ровной серой краской, свод поначалу вызывает недоумение своей убожеством в сравнении с роскошью самого зала. Но когда начинается проповедь и в зале гаснет свет, потолок превращается в глубокое, мерцающее звездами небо с плывущими по нему «божественными» облаками. Впечатление присутствия на тихой ночной улице милого городка, а также внешний вид проповедника, его костюм и галстук, его проникновенный голос, вещающий без затей о том, что необходимо человеку для долгой человеческой жизни, вызывают у прихожан трепетное чувство — не робость перед таинством Божьих помыслов, а сопричастность и самоуважение. Облик сидящих в зале людей, их просветленные лица не допускали и мысли о том, что человек способен на зло... Возможно, и впрямь человечеству нужна новая религия. Ведь старые, традиционные, так и не избавили людей от ненависти. И если уж люди не могут жить без веры, то пусть придет иная вера. Может быть, она сдвинет тяжкий камень взаимной злобы. Но представить только — сколько крови прольется при этом. Воистину грядет Армагеддон, предсказанный Библией...

Я продолжаю листать страницы газеты. Стук колес вагона, казалось, вбивает в сознание каждое слово статьи корреспондента... «В графстве Лос-Анджелес полиция арестовала троих пятнадцатилетних школьников. Один из них угрожал взорвать школу. В его доме нашли руководство по изготовлению

взрывчатки и карту школы с указанием мест закладки бомб. Второй угрожал убить одноклассников и всех свидетелей, знавших об их замысле. У третьего в доме собрались пятеро восьмиклассников. У них обнаружены инструкции по изготовлению бомб и список людей, подлежащих устранению».

В школе городка Бейкерсфилд в Калифорнии у тринадцатилетнего подростка нашли полуавтоматический пистолет и список из тридцати фамилий одноклассников и учителей с пометкой «заслуживают смерти». В тот же день в школе города Инид, штат Оклахома, была найдена трубчатая бомба.

С тех пор как двое учеников из города Литлтон, штат Колорадо, убили тринадцать человек, волна угроз, паники и истерии прокатилась по всей «школьной» Америке. В двадцати двух графствах штата Пенсильвания зарегистрировано пятьдесят два случая, когда школьники угрожали убийствами и взрывами. Одного из них сдала собственная мать после того, как сынок заявил, что повторит «литлтонское шоу». При обыске у него нашли неопровержимые улики, что подтверждало серьезность угрозы. В Уилмингтоне, штат Делавэр, арестовано семеро подростков, угрожавших взорвать школу, допустившую к учебе негров. В Вашингтоне, после известия о том, что в одной из тринадцати школ заложена бомба, эвакуировали двенадцать тысяч учащихся. Во Флориде по той же причине эвакуировали двадцать семь тысяч школьников из всех тридцати школ графства Озерное. В Роквилле, штат Мэриленд, эвакуировали две тысячи учащихся, в графстве Паско, штат Флорида, — тысячу сто учеников, в Уичито, штат Канзас, — шестьсот... Побойще в Колорадо было приурочено ко дню рождения Гитлера, и слухи о том, что поклонники фюрера попытаются сотворить нечто еще более ужасное, вогнало Америку в ужас...

Мой приятель Яков

Юнцы скучали по Гитлеру, искали для себя войну... Моего приятеля Якова Липковича война нашла сама в том же возрасте, что и этих американских оболтусов. Яков был командиром танка гвардейского танкового батальона. Фотографии тех лет изображали стройного очкарика, сугубо домашнего

мальчика, школьника-старшеклассника. Якову повезло — он остался жив, отделавшись ранением. Окончил журфак и в конце концов стал писателем и драматургом. Помню его сборник «Забывтая дорога». О той самой войне, по которой скачут американские пацаны, постреливающие в сверстников. В его повестях и рассказах война была иная, нежели у других писателей-фронтовиков. Кровь и смерть в его книгах были заслонены простыми человеческими отношениями. И это впечатляло гораздо сильнее, чем обнаженные людские страдания. Неспроста выражение «душа болит» вбирает в себя понятие «высокого страдания».

Яков — писатель-интернационалист в самом высоком понимании этого слова. Россия — страна многонациональная, поэтому любой намек на ущемление национального достоинства в годы войны, когда все были равны перед смертью, воспринимался как тяжкое унижение. В рассказе «Аты-баты, шли солдаты» есть отрывок: «...был такой случай. По вашей нации. Один комбат обозвал своего офицера-еврея... ну сами понимаете как. А тот, недолго думая, за пистолет и в комбата то ли две, то ли три пули всадил. Что дальше? Похоронили этого придурка с почестями, а офицера — в штрафбат, откуда он вышел уже инвалидом, без двух ног...» Короткий отрывок, но весьма знаменательный — писатель щедр. Сюжет спрессован до критической массы. Иной автор развернул бы ситуацию в многостраничное повествование, Яков ограничился несколькими фразами. Но я сейчас о другом, о судьбе самого писателя.

Что привело российского писателя в далекий Кливленд? Не диссидент, не активный политический противник системы... Вообще жизнь человека интеллектуального труда в России всегда была непростой, а после августа девяносто первого года осложнилась еще более. Старые институты были сметены на гребне доселе незнакомых рыночных отношений, общество распалось на две неравные части: очень богатых и очень бедных. К последним примкнули представители самых незащищенных категорий — люди интеллектуального труда.

Справедливости ради надо заметить, что и за рубежом, в «благополучных» странах, многие писатели не в состоянии жить за счет чисто литературного труда. Кто-то из них преподает, кто-то занимается бизнесом, кто-то служит. Нельзя

сказать, что в той, вчерашней России так не было, — было! Но в той России писатели были социально защищены. Одно звание члена Союза писателей предполагало вхожесть в определенный круг, некое подобие масонской ложи. Свои поликлиники, свои Дома творчества, дачи, пошивочные мастерские и прочее. Я бы не сказал, что «блага», представленные этими структурами, распределялись справедливо. Но все же была возможность... С приходом «нового времени» все порушилось. Да и сам Союз писателей распался на два (а то и больше) непримиримых лагеря, а члены Союза уподобились «кошке, которая гуляет сама по себе». Появилось бесчисленное количество издательств — после книжного голода тоталитарной системы книжный бизнес стал наиболее благодарным: печатай что хочешь. Наряду с прекрасными книгами рынок заполнила конфетная облегченная продукция, что всегда привлекала замордованных жизнью пассажиров общественного транспорта... Многие писатели растерялись, жизнь понесла их по кочкам. В эпоху тоталитарной системы, эпоху жесткой цензуры и телефонного права, писатели поднимали острейшие проблемы, и каждая такая публикация становилась общественным явлением. А в отсутствие цензуры писатели умолкли, хотя тем для осмысления не убавилось — напротив. Такое существование в большей или меньшей степени затронуло многих писателей. В то же время разжигала свои костры новая литературная жизнь. Как из рога изобилия посыпались литературные премии, присуждение которых сопровождалось «лукулловыми пирами» и многодневными гулянками. Учрежденные богатыми спонсорами, премии вручались нередко по узковкусовым соображениям, иногда они присуждались за произведения, которые, едва успев заявить о себе, пропадали бесследно. Такое «литературное шаманство» угнетающе действовало на старую писательскую гвардию... Яков долго крепился. Но подступили болезни, отъезд дочери со своим семейством. Не оставаясь же им с женой под старость в одиночестве, с месячной пенсией, которой едва хватало на неделю скромного существования. Так он и попал в город Кливленд, надеясь найти себя хотя бы в первой своей профессии — журналистике. Стал писать об эмигрантском житье-бытье, раз родина повернулась к нему спиной...

День благодарения

Колеса вагона простукивали грудь, что прятала «сердце Америки» — штат Индиана. Почему так считают — не знаю. Серединным штатом, пожалуй, можно назвать Канзас или Небраску. Впрочем, сердце человека расположено асимметрично. Тогда — и вправду Индиана, неспроста девиз штата — «В центре Америки!».

Я пытался распознать границу, отделяющую штат от штата, но безуспешно: то ли проглядел пограничный столб, то ли продремал. Ровный, точно скатерть, «неподвижный» пейзаж Индианы когда-то служил декорацией драматических событий борьбы за независимость...

Вообще, по данным археологов, индейцы появились на американском континенте за двадцать тысяч лет до новой эры. Они прошли по перешейку, который некогда соединял Азию и Америку и где теперь раскинулся Берингов пролив.

Своим названием индейцы обязаны недоразумению — американский континент был принят Колумбом за Индию, западный морской путь в которую он искал. Однако на земле штата Индиана индейцы появились всего лишь тысячу лет назад — апачи, делаверы, вычиты, ирокезы. Одно перечисление названий индейских племен захватывает дух, пробуждая в памяти упительные часы, проведенные за чтением Майн Рида и Фенимора Купера. Стало быть, события происходили на той равнине, что расстилается за окном вагона. Местами выдувались холмы, скрывая в распадах пятна забытого предвесеннего снега. В былые времена холмы служили укрытием воинственным ирокезам. Казалось, я их сейчас увижу: в пышных головных уборах над ритуально размалеванными смуглыми лицами, скачущих на мустангах за своим вождем — Ястребиным Когтем или Соколиным Глазом...

Индейцы защищали свои земли вначале от французских колонизаторов, потом от англичан, и в итоге им достались небольшие территории-резервации. Законы Америки предполагают гарантии наибольшего благоприятствования для коренных народов во всех социальных областях. Однако традиционное религиозно-бытовое начало под приглядом вождей в индейских племенах — как считают американцы — подавляет намерение американского правительства сгладить барьер отчуждения.

Мало кто из индейцев решается порвать с обычаями племени — так мне говорили сведущие люди. Но мне не очень верится во все эти социальные гарантии, мне кажется, аборигенам-индейцам многого недодали — само понятие резервации, гетто говорит о многом. Их сторонятся, с ними соблюдают дистанцию...

Как-то я забрел в Вашингтон-сквер, где обычно тусуются студенты Нью-Йоркского университета. В центре толпы зевак молодой человек типично индейской наружности проделывал удивительные фокусы — пожирал огонь, протискивал в горло острую шпагу, протыкал щеки металлическим стержнем. В конце представления он обошел зрителей, собирая пожертвования. Зрители разошлись, разбились на компании — кто принялся играть в волейбол, кто уединился с пивными банками в руках, кто тасовал игральные карты... Артист-индеец сиротливо переходил от группы к группе, явно желая стать своим, ну хотя бы допущенным. Я был поражен: американские студенты — эталон демократических отношений, лишённые расовых и национальных предрассудков, хотя бы внешне, а тут... Помавшись, бедолага-индеец скорбно удалился, закинув на спину рюкзак с реквизитом.

Так что славен сейчас штат Индиана не своими аборигенами, которых я даже на захолустных полустанках не встречал, а, скажем, Теодором Драйзером, писателем, жившем в этом штате, или композитором Колом Портером, чьи джазовые шедевры вгоняли меня в экстаз со школьной скамьи. Не говоря уж о братьях Райт, которые первыми в мире, в декабре 1903 года, подняли в воздух самолет с двигателем внутреннего сгорания на целых пятьдесят девять секунд, прихватив в кабину символ штата Индиана — пион, нежный и прекрасный цветок. И как патриоты штата, братья в этот исторический миг наверняка распевали гимн Индианы — песенку «Там далеко, на берегах Уобаша». Шутка. Конечно, неугомонных братьев тогда больше заботила мысль о том, как бы им в итоге не воротиться на землю в виде двух разбитых вдребезги тел, утешением которых станет другой символ родного штата — могучий тополь, что раскинет свою листву над могилой братьев.

Американский тополь ничуть не уступает российскому своей величественной кроной и обилием пуха. Именно это дерево удостоилось чести стать символом штата Индиана. Вообще флора на тех берегах пользуется особым расположением людей. Помню, с каким изумлением я взирал на гигантские секвойи Калифорнии, педантично пронумерованные латунными бирками, которые уважительно крепились на отдельном, стоящем рядом с деревом, столбике. В связи с такой заботливостью вспоминается случай.

Владелец манхэттенской бакалейной лавки приковал свой велосипед цепью к дереву, что росло рядом с его заведением. На беду мимо проходил инспектор парковой полиции, который узрел в действиях бакалейщика угрозу жизни «зеленого друга» и стал выписывать штраф. Бакалейщик, кляня судьбу за такое невезение, готовил себя к штрафу долларов на пятьдесят и, надеясь умиловить инспектора, бубнил, что, мол, был свидетелем посадки этого дерева двадцать четыре года назад и любит это дерево как родное. Инспектор закончил оформление квитанции и передал ее бакалейщику. У того потемнело в глазах. Штраф — тысяча долларов! В дело вмешался глава городского паркового хозяйства. Вникнув в суть конфликта, начальник постановил: если бакалейщик желает отделаться всего лишь пятьюдесятью долларами, то он обязан публично извиниться перед деревом, дружески его обнять и пообещать никогда его больше не обижать. «У меня такое впечатление, что я попал на другую планету, — сказал озадаченный бакалейщик. — Но если это сохранит мне девятьсот пятьдесят долларов, то почему бы и не обняться с деревом? В конце концов, я и вправду неплохо к нему отношусь. Однажды даже посадил рядом несколько тюльпанов. Так что если что и было между нами, то дерево мне простит». Такая вот типично американская история...

— Индианаполис, господа. Индианаполис. — Проводник Эдди Уайт шествует вдоль коридора, предупреждая пассажиров о недолгой передышке у платформы столицы штата Индиана. — Индианаполис, сэр. — Эдди остановился у моего кресла.

— Мне до Чикаго. — Я отложил газету.

— Знаю. Но если вы хотите размять ноги, в вашем распоряжении десять минут. — Эдди взглянул на заголовок газеты. — «Хобо»? Когда я еду на сабвее в Бронкс, то часто вижу людей с этой газетой в руках. Интересная газета «Хобо»?

В недоумении я перечитал знакомый заголовок газеты «Новое русское слово». Что за «Хобо»? И верно. «НОВОЕ» читается по-английски как «ХОБО». Ай да Эдди...

— Это, пожалуй, самая старая газета на русском языке в Америке, — пояснил я. — Мне доводилось даже печататься в этой газете.

— Вы что, писатель? — подозрительно сощурился Эдди. — А сказали, что проводник.

— Видишь ли, Эдди... Я писатель. Но чтобы написать книгу, я стараюсь как бы сам прочувствовать судьбу своих героев.

— Понятно, — кивнул Эдди. — Один мой знакомый спрыгнул с моста Вашингтона. Он давно мне говорил, что хочет испытать состояние птицы. И вероятно, рыбы тоже. Хотя он и не писатель.

— Ну и что?

— Разбился к чертовой матери. Потом я узнал, что его накануне выпустили из психушки на День благодарения.

— Бедняга, — посочувствовал я. — Конечно, нелегко познавать жизнь... Может быть, твой приятель не сумел купить хорошую индюшку и прыгнул с моста от досады?

— Купить индюшку на День благодарения — не проблема, сэр.

Эдди сделал несколько шагов по коридору вагона, повторяя: «Индианаполис, господа», — неожиданно остановился, обернулся и, улыбнувшись, погрозил мне пальцем — черным пальцем со светлой подушечкой, словно помахал зажженным фонариком. С чего это он, непонятно. Или решил, что я вожу его за нос: то коллега-проводник, то писатель. Если он парень из Бронкса, то можно обдуривать?

Я улыбнулся и тоже дружески повел пальцем.

— Индианаполис, господа, — уже издали донесся простуженный голос Эдди Уайта.

А я вспомнил удивительную историю моей приятельницы Любы. «Знаешь, — рассказывала мне Люба, — когда я очутилась наконец в Америке, одна, с двумя маленькими сыновьями, нас пригласили в незнакомую семью, на День благодарения. За столом сидели дедушка, бабушка, отец с матерью и шестеро детей. Был осенний ноябрьский вечер. Я знала, что вся Америка сейчас сидит за таким столом... Горящие свечи. На столе — изумительная на вид, покрытая золотистой корочкой, огромная индюшка. Дедушка прочел молитву. Все дружно произнесли «Амэн!»... И тут я разрыдалась. Второй раз в жизни меня сразила такая истерика. В первый раз со мной случилось подобное, когда самолет оторвался от взлетной полосы в Пулково, в Ленинграде, в тысяча девятьсот восемьдесят седьмом году...»

История и вправду особенная. Жила в Ленинграде молодая женщина, мать двоих малышей, мальчиков. И к тому же инженер-конструктор завода «Авангард»... Муж Любы инженерил на другом, жутко секретном, предприятии и весь был

«упакован запретами» к нормальной человеческой жизни, словно первая атомная бомба.

В один прекрасный день Любе все надоело — и мельтешня на экране телевизора вождей-пустобрехов, и пустые полки магазинов, и злые лица встречных-поперечных, и нередкое отсутствие в кране горячей и холодной воды, которую, как известно всем, выпили жиды. Шел 1979 год. Мощный поток эмиграции все сильнее раскачивал утлую лодчонку Любиной семейной жизни, унося за бугор друзей и знакомых. Невский опустел. И Петроградская сторона, и Васильевский остров. И Дом кино опустел. И на премьерах Большого драматического театра в полупустом зале виделись незнакомые лица, точно Люба забрела в другой город...

«Пора вязать узлы» — решила она и подала на развод: при муже-«атомной бомбе» ее не выпустят даже в Болгарию.

Наконец документы собраны, сданы в ОВИР. Наступило время Неожиданностей и Ожидания. Неожиданность проявила себя сразу — на следующий день после подачи документов ее уволили с завода, «выбросили» на улицу. Ожидание же растянулось на целых восемь лет...

И вдруг, в 1987 году, при очередном визите на улицу Желябова она получает разрешение на выезд.

А надо было так случиться, что родной брат злосчастливого мужа-«атомной бомбы» женился на француженке, в полной уверенности, что его, согласно закону, выпустят к супруге в Париж, ибо брат за брата не ответчик. Не тут-то было! Ответчик!

Узнав, что Люба получила разрешение на выезд, брат мужа отправился в ОВИР и поинтересовался: почему ему, брату «засекреченного брата», не дадут разрешение на выезд к жене-француженке, а бывшей жене его «засекреченного брата» Любе Э-й такое разрешение дали?! Где логика?! Инспектор ОВИРа в испуге хлопнул себя по лбу! Как?! Неужели он, недавний сотрудник этой почтенной организации, дал маху, упустил какую-то бумаженцию, скрыл ее от комиссии?

Телефонный звонок из ОВИРа застал Любу за упаковкой шестого баула.

— Гражданка Любовь Э-а? — мягко спросил инспектор. — Вам необходимо срочно зайти в ОВИР. Зачем? Мы вам скажем в ОВИРе. Сложности с вашими мальчиками, не на кого оставить? Возьмите их с собой. Нам необходимо кое-что уточнить. В ваших же интересах. Ждем.

Душа Любы заметалась. Она отлично знала, что «родина-мать» имеет в виду под фразой «в ваших же интересах». Что-то стряслось! Но что?! Ведь уже назначен день большого шмона на таможене всего ее «дальнего багажа». Уже куплены авиабилеты до столицы Австрии, где замок Шенон в пригороде Вены собирал в те годы господ эмигрантов перед броском к новым берегам.

Люба присела на полусобранный шестой тюк. «Не будь душой, — говорила она сама себе. — В ОВИР — ни ногой, обманут. Все бумаги оформлены, надо как-то дотянуть до отъезда...»

— Почему вы не явились? — раздался на следующий день недоуменный голос инспектора, — его клиенты обычно выполняли все приказы. — Я же сказал, возьмите с собой мальчиков. Придете завтра? Ладно, жду вас завтра. Без всякой очереди, прямо ко мне. Дело одной минуты... Впрочем, завтра суббота. Приходите в понедельник. И без всяких неожиданностей! Кстати, у вас таможня «дальнего багажа» в следующую субботу, а билеты на следующее воскресенье, так?

Люба повесила трубку. Ее охватило отчаяние. Она пнула ногой зеленую тушу тюка, похожего на спящего бегемота. Сознание обреченности сковало волю. Неужели вновь придется испытывать судьбу? Но теперь без крыши над головой — квартира уже передана городу, паспорт изъят, вместо паспорта — справка, дети оставили школу, продана кормилица — швейная машинка... А может быть, правду говорит инспектор — забыли проставить какую-то чепуху в документах? Люба не знала о визите брата мужа в ОВИР. А тот, испугавшись своего необдуманного поступка, затаился...

Наступил понедельник. Люба подошла к постылому подъезду на улице Желябова, толкнула тяжелую дверь и, минув сонную рожу дежурного милиционера, медленно поднялась на второй этаж. Знакомая до мелочей приемная была заполнена тихими людьми...

— Инспектор отлучился на пять минут, подождите, — сказала секретарь в милицейской форме.

Люба присела на край скамьи. Стрелки настенных часов откинули одну минуту, вторую... Люба поднялась и направилась в коридор. «Только бы его не встретить, только бы не встретить», — молила она судьбу.

Очутившись на улице, Люба быстрым шагом вышла на Невский и свернула направо, к кассам «Аэрофлота».

В зеленых глазах Любы светилось нечто такое, что заставило девушку-кассира терпеливо выуживать информацию из банка данных. Люба ждала, переминаясь с ноги на ногу, боясь оглянуться, — и впрямь у страха глаза велики. Наконец кассир подняла голову и сообщила, что Любе повезло: есть три билета до Вены на послезавтра — какие-то туристы перенесли дату вылета; необходимо уплатить за перерегистрацию.

— Конечно, конечно, — лепетала Люба, едва веря в такую удачу. — Послезавтра, в среду, в одиннадцать утра...

Едва Люба переступила порог своей квартиры, как зазвонел телефонный звонок.

— Что же вы, гражданка Любовь Э-а? — сварливо прогундел знакомый голос инспектора. — Приходили? Когда? — Голос подобрел — стало быть, Люба «послушалась», раз приходила. — Ладно. Жду вас завтра, с документами. Завтра не можете? Пойду вам навстречу — приходите послезавтра, в среду. Но это последний срок. В среду, в одиннадцать часов. Хорошо? Ровно в одиннадцать. Я специально буду вас ждать. До свидания.

Люба положила трубку. Теперь надо вести себя осторожно.

Она оглядела спящие на полу баулы «дальнего багажа», приготовленные для таможенного досмотра. Шесть зеленых баулов хранили в своем чреве все, что нажито за двадцать семь лет жизни, на что можно было бы опереться в чужой, пугающей своей незнакомостью стране. И все это необходимо... оставить. В самолет придется взять лишь ручную кладь — пять килограммов. Мальчикам ручная кладь не полагается, они вписаны в Любин билет, правда, с местами в салоне.

В аэропорт Пулково Люба приехала на такси. С детьми и пластиковой сумкой, набитой детским нательным бельем; из собственных вещей она взяла лишь маленькую косметичку. Тоненькая, стройная, юная, точно старшая сестра двух сероглазых мальчиков, не по возрасту серьезных и тихих...

Суровая таможенница с подозрением взглянула на Любу, перевела глаза на ребяташек, шмыгнула пупырчатым носом и остановила строгий взор на пластиковой сумке, помолчала и вновь обратилась к списку отбывающих на ПМЖ — постоянное место жительства.

— Что-то я вас здесь не нахожу, — с непонятной злостью произнесла таможенница.

— Мы не проходили досмотр «дальнего багажа». — Люба старалась выглядеть спокойной. — У меня состоятельная тетя в Израиле, нам не нужны лишние вещи.

— Это что? Одна ручная кладь на троих? И весь ваш багаж? — голос таможенницы густел. — Что-то подозрительно. Первый раз вижу таких пассажиров, точно после пожара... Впрочем, от вас, предателей, всего можно ждать, — неожиданно заключила таможенница и базарно добавила: — Тетка в Израиле, видите ли, у нее! Знаем ваших теток, вранье одно.

— Послушайте... — ярость Любы на мгновение подавила ее страх. — Вот мои документы, вот мои билеты, вот моя ручная кладь. А что касается предательства... — Люба умолкла. Она могла сказать этой службистке, кто предатель в этой стране: те, кто уезжает, или те, кто, присвоив себе страну, создал такую жизнь, при которой люди толпами бегут за рубеж, бросаются головой в омут, а те, кто остается, завидуют тем, кто уезжает. Да и ты сама, коза сторожевая, дай тебе волю — дунула б отсюда как ошпаренная...

К стойке приблизился мужчина в форме, молодой, курносый, с красным усердным лицом. Он тронул таможенницу за плечо и приказал сходить в спецотсек, где какую-то пассажирку досматривают «по женской части» и требуется присутствие женщины-таможенницы. «Коза сторожевая» зыркнула на Любу желтыми глазами, бросила на стойку авторучку и ушла.

Заменявший ее таможенник, разгоряченный экзекуцией в спецотсеке, брезгливо пробежал взглядом Любины документы и подписал декларацию...

Через много лет в отдел регистрации приезжих иностранцев ОВИРа вошла женщина, одетая в деловой костюм, элегантный и наверняка весьма дорогой. Темные очки в изящной оправе скрывали пол-лица, подчеркивая скульптурную форму носа и красивые узкие губы, очерченные неброской помадой. Женщина представилась менеджером крупной американской трикотажной фирмы, имеющей филиалы во многих городах мира, в том числе и в Санкт-Петербурге. Услышав имя и фамилию американки, пожилая секретарь отдела регистрации приезжих иностранцев подняла голову и, сердечно улыбаясь, поинтересовалась, не та ли это Люба Э-а, что эмигрировала из страны

в 1987 году. Американка кивнула — да, та. Секретарша всплеснула руками, окончательно расплываясь в улыбке: «Если бы вы знали, Люба, сколько неприятностей свалилось на нас после вашего... отъезда. Сколько поувольняли сотрудников...» Люба пожала плечами. Получив свои документы, достала из сумки флакон дорогих духов и поставила на край стола... Такая вот история, связанная с индейкой на День благодарения.

О, Чикаго

Поезд компании «Амтрак» длинной гремучей змеей подползал к буйному городу Чикаго, громыхая на стрелках многочисленных путей, раздвигая громоздкие пакгаузы, ангары непонятного назначения, минуя маневровые тепловозы, дремлющие товарные и пассажирские составы. Внезапно, справа по ходу нашего движения, квадрат окна сфотографировал внушительный контур трехпалубного корабля, покрытого снежным настом с крупными сосульками, свисавшими с корабельных надстроек. И еще одно судно, поменьше, и тоже какое-то забытое, занесенное снегом, точно Летучий голландец. «Так там же озеро Мичиган», — вспомнил я про голубой глаз штата Иллинойс.

Со школьных лет память хранила романтические названия пяти Великих озер: Мичиган, Верхнее, Эри, Гурон и Онтарио, а название Иллинойс как-то не очень проявлялось. Тем не менее вот он — двадцать первый штат Америки и третий штат по экономическому влиянию на жизнь страны.

Французские охотники-трапперы и торговцы пушниной были первыми поселенцами на этих диких землях. Но в 1700 году англичане отвоевали у Франции эту равнинную страну с тем, чтобы после войны за независимость отдать ее молодой американской республике. С тех пор и начался бурный рост нового штата несмотря на довольно скверный климат: зимой мороз с обильными снегами, холодрыга, а летом жарко и влажно.

Теперь-то, глядя в окно на февральский Иллинойс, я могу объяснить, почему в знаменитых гангстерских фильмах бандюги на улицах Чикаго кутались в теплые шубы. Непонятно только, как они в уличном снежном мареве метко решетили из пистолетов своих противников. Недаром хитрец Меир Лан-

ски, «министр финансов» знаменитого Аль Капоне, к концу жизни перебрался от студеных ветров Чикаго в Англию. Однако символом штата Иллинойс является нежный цветок — фиалка, и еще птичка — кардинал. Есть и еще один символ — дерево, белый дуб, привыкший даже к канадским холодам. Впрочем, морозы — штука, несомненно, полезная, неспроста именно в северных странах людей отличает большая продолжительность жизни и крепкая хватка. Взять хотя бы сорокового президента Америки, бывшего киноактера Рональда Рейгана, одного из самых популярных президентов страны, — он родом из Иллинойса. А что касается писателей, тут и говорить нечего. Кумир шестидесятых Эрнест Хемингуэй — иллинойсец. А как перебрался к старости в жаркую Калифорнию — покончил с собой. Или нобелевский лауреат Сол Беллоу — тоже иллинойсец. Вообще-то он по происхождению из наших, российских, — Соломон Беленький. Но так уж заведено — раз родился в Америке, то нечего размазывать по бумаге свое имя. Коротко и ясно — Сол! Или знаменитый фантаст Рей Брэдбери — и он иллинойсец. Или артист Джек Бенин, который до восьмидесяти лет смешил всю страну, великий был комик...

За окном тянется длинная замызганная кирпичная стена, огораживающая заводские корпуса с дымящейся трубой. Точь-в-точь древний Ижорский завод под Петербургом. И вдруг, словно взрыв, — чаша гигантского стадиона, сверкающего сталью и стеклом. И вновь заводские стены... Какой-то мужчина разгребает лопатой снег у подъезда дома, похожего на большую китайскую пагоду... Поезд остановился, потом вновь двинулся, но уже задним ходом. Таким манером мы въехали в туннель, который и вывел состав к платформе подземного чикагского Юнион-стейшен.

Первыми потянулись к выходу амиши. Они снимались со своих мест подобно большим черным птицам, стайей выстраивались в проходе. К ним робко примкнули обе старушки, повязав седые кудряшки кисейными платками... Я пристроился за старушками в покорном ожидании, когда проводник разрешит пассажирам покинуть вагон... Старик «Линкольн» оставался в своем кресле, благоразумно решив не томиться зря в проходе. Оставался на своем месте и тот самый свистун. В тамбуре громыхнула пневматическая дверь, и пассажиры потянулись к выходу, где с платформы им улыбался старина Эдди.

Чемоданы и баулы, всю дорогу покоившиеся в багажном отсеке, уже ждали своих хозяев на платформе...

Я протянул руку Эдди, пожал пухлую сильную ладонь и, получив свою порцию широкой черной улыбки, направился вдоль платформы, волоча за собой чемодан на колесиках.

До отправления поезда из Чикаго в Лос-Анджелес оставалось восемь часов, целая вечность. Главное — на это время избавиться от чемодана. Камеры хранения на американских вокзалах или вообще отсутствуют, или загнаны в самые глухие пределы и разыскать их довольно сложно, хотя и возможно. Запихнув чемодан в бронированную багажную ячейку, я набрал условный код и бросил в кассовую щель три квотера, радуясь тому, что они у меня оказались. Вообще-то квотер — монета в двадцать пять центов, наиболее распространенная в Америке. Там, где есть автоматы — прачечные, с прохладительными напитками, всевозможные аттракционы, автоматические турникеты в метро, словом, все, что работает вне людского догляда, — без квотеров не обойтись. На это в свое время обратил внимание один проворный молодой человек, «свежий» эмигрант из Молдавии. Сопоставив российскую монету в двадцать рублей образца 1992 года с вожделенным квотером, он не нашел различий: и вес, и размеры — все один к одному, какая удача. Однако чертовы американские автоматы как будто чуяли, кто «свой», а кто «чужой», — фокус не удался. Эмигранта засекла полиция, когда он закидывал российские монеты в щель американского автомата, а тот выплевывал монеты обратно. Бедолагу в наручниках отправили в участок, где обнаружили в карманах килограмма два российских монет...

Я записал на всякий случай номер и код багажной ячейки и в прекрасном настроении побрел по яркому оживленному залу в поисках выхода в город. Внезапно, точно черт из бутылки, рядом со мной оказался рыжеватый парень в хиппово сдвинутом в сторону жокейском кепи с длинным козырьком. Парень напоминал чем-то того свистуна с лыжами. Вид его был напряжен, выжидателен, на что я и обратил внимание. Он вытянул кривую, в пупырышках, шею и вращал головой, словно сова, — чуть ли не полный круг. На мгновение он замер и, высоко вскидывая колени, прикрытые рваными джинсами, внезапно бросился в сторону туннеля. Тотчас в зал вбежали два полицейских. Увидев парня, полицейские устремились

за ним, молча и деловито, будто уверенные в том, что тот никуда от них не денется. Публика довольно равнодушно взирала на эту погоню. «Начинается, — подумал я. — Чикаго, сэр!» — и, нащупав карман, где хранились все мои документы и деньги, вступил на эскалатор.

На середине пути, оглянувшись, увидел с высоты, как в зал из туннеля вернулся тот самый парень, в окружении уже четырех полицейских: видимо, парня поджидали в туннеле... Американские копы — ребята не промах, свое дело знают, академию закончили. «Академиков» американцы уважают, и есть за что. Рослые молодые люди в черной форме, с фуражкой-восьмиклинкой на голове, с пистолетом, рукоятка которого всегда на изготовку торчит из кобуры, с резиновой дубинкой в руках и набором наручников на поясе, как правило, всегда готовы прийти на помощь. Иногда, впрочем, по стране прокатывается волна неприязни к этим ребятам. Однажды в Нью-Йорке четверо полицейских прошли сорок одной пулей безоружного эмигранта-африканца. В полумраке они приняли африканца за опасного преступника, который находился в розыске. Африканец, не зная английского, не выполнил приказа и полез в карман — полицейские превратно истолковали это движение. Реакция была мгновенной — недаром ребята окончили академию... Честно говоря, могли бы и не торопиться — их было четверо против одного, могли как-то... без выстрелов на поражение. Так мне кажется... Подобные истории время от времени заканчиваются всенародным ропотом, отставкой полицейских начальников и строгим судом. Но не ошибается тот, кто ничего не делает, тем более на такой нервной работе. Полиция — фундамент любого государства: тоталитарного, демократического, социалистического — любого, нравится нам это или нет. А каков фундамент, таково и сооружение. Лично я предпочитаю жесткую, но справедливую в рамках закона, хорошо оплачиваемую полицию, чем разболтанную, коррумпированную, полупьяную и полунищую в своей массе ораву вооруженных людей, улыбчивых только в концертном зале на своем профессиональном празднике...

Привокзальная площадь стыла в мгlistом февральском воздухе. Хотелось вернуться в теплое и яркое подземелье Юнион-стейшен. Хорошо еще не было ветра: Чикаго этим славится. Я остановился на мосту-улице, повисшей над каналом,

привлеченный видом небольшой яхты пронзительно-красного цвета, что стояла у причала. Железнодорожный вокзал, выходит, размещался под этим каналом, почему-то свободным от наледи, устилающей озеро Мичиган. Впрочем, железнодорожные магистрали под водной артерией — штука обычная, скажем, для метро, но вокзал с его широко разветвленной сетью коммуникаций меня почему-то тогда озадачил, ну да бог с ним...

За каналом раскинулась площадь, даже не площадь, а, скорее, расширенная улица. Сказать, что она была немногочленной, нельзя — она была пустынной. То ли время такое — разгар рабочего дня, то ли американцы вообще не склонны пользоваться железнодорожным транспортом. На один железнодорожный вокзал в Чикаго приходится три аэропорта, один из которых — всемирно известный аэропорт О'Хара.

Так и решив для себя загадку малолюдности улицы, я отправился поест, благо до ближайшего кафе было рукой подать.

Толкнув стеклянную дверь, я обомлел — казалось, население трехмиллионного Чикаго целиком вместились в это небольшое кафе. В основном здесь сидели мужчины в гладких белых сорочках, при галстуках, с накинутыми на спинки стульев пиджаками — служащие ближайших офисов пришли на ланч. Можно подумать, на улице не февральская погода, а разгар лета. Американцы удивляют своим пренебрежением к погоде. Нередко зимой на улице можно встретить синего от холода человека в шортах и майке, ведущего за рога велосипед, когда в пору ходить на лыжах...

Я прикрыл дверь и направился в соседнее кафе. Но и там такая же картина. Стало быть, в ближайшей округе разместились компании средней руки, иначе б служащие столовались, не покидая здания офиса.

Наконец-то мне повезло. Тут же появилась официантка — юная коротко стриженная брюнетка с раскосыми глазами: то ли кореянка, то ли японка, то ли китайка. Заказанную еду я получил мгновенно и, не желая терять время, тут же расплатился, попутно спросив официантку, нет ли поблизости какой-нибудь чикагской достопримечательности.

— Через дорогу, сэр, стоят туристические автобусы! — наконец нашлась официантка. — Очень удобно. А если вам хочет-

ся посетить музей, то недалеко отсюда находится знаменитый Музей искусств, он известен во всем мире, — и, все более и более воодушевляясь, она добавила: — Но я бы вам посоветовала посетить музей при моем университете. Он, конечно, меньше, чем городской Музей искусств, но вы не пожалеете, сэр, уверяю вас. Я там часто бываю, когда у меня нет лекций и не надо идти на работу...

Должен заметить, что университетские музеи давно меня покорили. С тех пор еще, как много лет назад я впервые попал в знаменитый городок Принстон, штат Нью-Джерси, где аккуратные домики и коттеджи чередовались с пестрыми бутиками и недорогими развеселыми кафе. Я искал дом, в котором когда-то жил Альберт Эйнштейн, или, на худой конец, хотя бы его могилу. К этому поиску меня склонил известный петербургский литератор, пишущий о жизни ученого люда: «Попадешь в Принстон, посети могилу Эйнштейна, положи от меня цветок». И я искал, пока не узнал, что могилы Эйнштейна не существует, — его тело сожгли, а прах, согласно завещанию, развеяли над океаном. Но поиск этот привел меня в Принстонский университет — маленькую страну, утопающую в зарослях азалии. В центре этой маленькой страны разместился музей — просторное здание с колоннадой. Вход в него охраняет скульптура Пикассо: на белом стержне-основании аллегорическое изображение Знания и Света — огромные бетонные уши, в центре которых нечто вроде глазных яблок. За двойной стеклянной дверью музея меня встретила бронзовая скульптура лучника, охраняющего богатства, собранные за многие годы благодаря пожертвованиям выпускников университета своей альма-матер. Особенно щедро жертвовали какие-то Роза и Генри Перельманы, вероятно, весьма состоятельные люди. Стены университетского музея украшали такие картины, как «Дилижанс» Ван-Гога, «Молодая женщина» Эдуарда Манэ, «Гора Сан-Виттория» Поля Сезанна, «Полотер» Тулуз-Лотрека... Кстати, даже в нашем Эрмитаже, кажется, нет своего Тулуз-Лотрека, которого еще царь Николай Второй обличил как глашатая порнографии... Был в музее и Лукас Кранах, живший в XVI веке, с картиной «Венера и Амур», был Иероним Босх, современник Кранаха, с картиной «Христос и Пилат». И Рубенс, чья картина «Смерть Адониса» была подарена музею корпорацией Карнеги...

Долго я бродил по музею, благодарил судьбу за провидение, пославшее меня на поиск могилы Эйнштейна. Кстати, не менее великолепен музей при Стенфордском университете в Калифорнии. И в Бостоне, в Гарвардском университете. И, думаю, при каждом знаменитом университете, чьи воспитанники чтят стены своей альма-матер, — такова традиция... Вот какие воспоминания пробудила во мне студентка-официантка из чикагского кафе.

Диспетчер туристического агентства смотрела на меня несколько виновато — конечно, она выделит мне гида, если заплатить за индивидуальный тур по городу, а иначе придется подождать, когда соберется хотя бы небольшая группа. Ждать я не хотел, а оплатить индивидуальный тур мне было не по карману. Задачу решил водитель туристического автобуса — чернокожий, с короткими курчавыми и густыми, точно войлочный шлем, волосами. Он предложил покатать меня одного — его смена кончилась, ему все равно сколько человек возить, ему платят за «ходку». Я согласился и внес в кассу восемь долларов за поездку без гида...

Автобус небольшой, вроде российского работяги «пазика», но с прозрачной крышей и длинными витринными окнами, а по бортам обвешан рекламными щитами, словно карнавальный экипаж. Реклама оповещала, что Чикаго — город, который всегда работает, несмотря на ветры: улыбчивая красавица, надув щечки, шлет вихрь на двух молодцов в рабочих касках... Перехватив мой взгляд, водитель произнес: «Все это глупости. Самый тихий город в мире, — а на мой вопрос о гангстерах ответил: Самый отпетый гангстер Чикаго — это я, драйвер Билл», — и ткнул пальцем в собственную грудь.

Я влез в «бас» и расположился за спиной веселого Билла.

— Название города, сэр, произошло от индейского слова «Шикагоа». — Билл выруливал со стоянки, глядя в зеркало заднего вида. — Что это значит — никто не знает, даже я.

— О'кей, Билл, — прервал я драйвера. — «Шикагоа» на языке племени иллинойс означает «переправа», я вычитал в справочнике. — Мне захотелось осадить водителя, сам не знаю почему. Однако, почувствовав его досаду, я поспешил подластиться: — Вы и родились в Чикаго?

— Да. Я родился в Чикаго, — принял мое извинение Билл. — Но моего деда привезли в Америку с Островов Зеленого Мыса.

— Ха! — воскликнул я. — И ваш род оттуда?

— Вы были на островах, сэр? — Билл обернулся, чтобы лучше меня разглядеть.

— Нет-нет, — поспешил я вернуть драйвера в рабочее положение. — Одна моя знакомая родилась на Островах Зеленого Мыса. Она обещала мне прислать листья муилы. Говорят, помогает от болезней.

— О! — взвыл Билл и хлопнул ручищами по рулю. — Друг моего земляка — мой земляк! А это здание городского муниципалитета, сэр. Оно построено архитектором...

Билл не торопясь ехал в правом ряду, верный привычке водителя туристического автобуса. Я вертел головой, следуя его указаниям.

— А в этих местах раньше размещались знаменитые чикагские бойни. Кстати, мой дед и отец работали здесь. Как-то к ним в цех заявили шестеро парней с канистрами бензина. Объяснив, что хозяин цеха перестал платить им налог, парни приказали рабочим покинуть помещение. Затем облили цех бензином и подожгли. Цех горел весь день, это было в тысяча девятьсот тридцать пятом году, задолго до моего рождения. Самое удивительное, сэр, — мой дед нашел тех людей и осмелился пожаловаться, что остался из-за них без работы. И что вы думаете? Вскоре ему подыскали работу на другой бойне. Ему и отцу... Такие вот были гангстеры в те времена... Взгляните вверх, сэр, в потолок. Мы проезжаем мимо стоэтажного Джон Хэнкок-Центра. Понимаю, после Эмпайра вас не удивит, но у меня в запасе есть для вас еще стодевятиэтажный Сирс, а он на семь этажей обставил ваш Эмпайр...

Город, подобно добродушному, щедрому и тщеславному хозяину, выплескивал в чистые окна автобуса все новые и новые богатства. По числу небоскребов Чикаго немногим уступает Нью-Йорку. Здесь даже есть два небоскреба, подобных знаменитым нью-йоркским «близнецам», — два билдинга «Кукурузные початки», высоченные, круглые от основания, действительно похожие на кукурузные початки с их ячейками-зернами.

Но меня поразили не эти устремленные к серому низкому небу длиннющие пальцы-дома, меня поразил контраст между тем, что я ожидал увидеть, памятуя старые фильмы, действие в которых развивалось в Чикаго, и тем, что я видел реально.

Город дышал мощью, какую внушает стоящая на стапелях многотонная космическая ракета, если подобное сравнение может иметь место. За всеми этими красавцами-билдингами стояли машиностроительные, сталелитейные и химические корпорации Америки, электронная и нефтеперерабатывающая промышленность. О чем и вещали солидные вывески на фронтонах, а также веселый шофер Билл. Я вертел головой, чтобы успеть все примечать взглядом... Чаша стадиона — стекло и бетон: кажется, я видел ее из окна вагона. Музей естествознания Филда. Морской аквариум Шедда, с акулами и прочей экзотикой. Картинная галерея, еще картинная галерея. Умопомрачительные витрины магазинов с живыми манекенами и сверкающими лаком автомобилями из самых разных стран мира...

Черт бы побрал шофера Билла, он слишком гнал свой катафалк. Тем не менее нас то и дело обгоняли попутные машины, и по взглядам их водителей я догадывался, что они думают о Билле...

— В этом месте я обычно останавливаюсь, — проговорил Билл. — Здесь гид рассказывает, как копы арестовали маньяка, который изнасиловал и убил дюжину проституток. В этом месте маньяк клюнул на женщину-полицейского — она работала под проститутку.

Я прилежно осмотрел запорошенный снегом сквер, в центре которого высилась скульптурная группа со всадником на коне.

— Извините, Билл, я знаю — в Америке этот вопрос задавать не принято, но я приехал из России... Сколько вы получаете за свою работу?

— Около сорока тысяч долларов в год, мистер. Не так много, если учесть, что у меня двое детей, за учебу которых в колледже приходится выкладывать кругленькую сумму. Еще у меня дом, а в доме безработная жена... Но мне хватает, я доволен... Сейчас парни из нашего профсоюза хотят поднять нам зарплату, ведь жизнь подорожала. Посмотрим, что у них получится... А вы приехали из России? Мечтаю побывать в России. Там, говорят, много сейчас нашего брата, чернокожих... Пожалуй, съезжу как-нибудь, с женой. Я уже был во Франции и Германии. Еще я был в Швеции, там мне понравилось. Там настоящий социализм, я думаю... Между прочим, именно у нас,

в Чикаго, прошла самая первая демонстрация рабочих. Знаете, нет? Первого мая тысяча восемьсот восемьдесят шестого года. Люди требовали восьмичасовой рабочий день... Так что шведы нам обязаны, — неожиданно заключил Билл и вскричал: — Господи, мистер, чуть не проехал... Там вот, видите, за поворотом... Знаменитый Чикагский университет. Целый город, я вам доложу. Вообще в Чикаго около шестидесяти институтов.

Драйвер Билл взглянул на башенные часы, что крупной птицей присели над подъездом мраморного билдинга, и, переехав перекресток, остановился. «О'кей, мистер?» — обернулся он через плечо. Это значило, что пора и честь знать, что выложился он по всей программе.

Я достал доллар. Билл принял купюру, заметив, что деньги всегда кстати, даже один доллар... Довольные друг другом, мы расстались.

Фаня-американка

До отправления поезда оставалось три часа. И я пошел куда глаза глядят. Если идти так, наобум, то, как правило, забредаешь в места более скучные, чем те, на которые тебе указали бы перстом. Кварталы вытягиваются, встречный люд поглощен своими заботами и скользит по тебе невидящим взглядом... Через полчаса подобного хождения задаешься вопросом: где все то великолепие, которое виделось из автобуса? Надо бы вернуться, исправить ошибку, но ноги упрямо вышагивают пятнистым колотым тротуаром. Это тоже Чикаго. А может быть, и более чикагское. Низкорослые дома, в основном двухэтажные, мастерские, мелкие лавчонки, пустыри... Многие города хранят подобные «проплешины» в ожидании, когда городские власти займутся их реконструкцией.

Я обратил внимание на странное скопище у подъезда длинного унылого кирпичного дома. Люди — если их можно было назвать так — сидели и стояли вдоль бурой стены. Подле каждого из них на тележках высилась куча невообразимого хлама. Одутловатость и обветренность кожи делали лица людей похожими друг на друга, грязные космы прядями торчали из-под чумных шапчонок. Хомлес! Бездомные люди, со своим скарбом...

Примечательно, что в небольших провинциальных городах я что-то хомлесов не встречал. Они в основном бродят в крупных городах. В теплое время года хомлесы не очень бросаются в глаза, они прячутся в чащобе парков, на пляжах, среди развалин старых домов. А вот осенью и зимой... Особенно примечателен переход в районе Тридцатых улиц из сабвея-метро в паст-трейн, подземную электричку, что соединяет Нью-Йорк со штатом Нью-Джерси. Весь просторный красивый коридор усеян телами ночующих хомлесов. Однажды, возвращаясь из Бруклина в четыре утра, я насчитал сорок два человекоподобных тела. Кто спал в картонных коробках, кто — на резиновых ковриках, кто — на газетах. Или прямо на полу, подле порожних пивных банок. Кое-где из-под драных одеял торчали две пары ног, обутых в дырявые стоптанные кроссовки, что особенно меня озадачивало: как они в своих «капустных» одеждах занимаются любовью...

Вонь в коридоре стояла невыносимая — нет ничего отвратительнее запаха немытого человеческого тела. Появление такого существа в любом общественном месте мгновенно создает зону отчуждения. И вместе с тем... как-то я зашел в церковь на Пятой авеню. Прохаживаясь, я увидел в одном из приделов длинные ряды кроватей-раскладушек под белоснежными покрывалами. Поинтересовался. Оказывается, это ночлежка при церкви для тех, у кого нет крыши над головой. Но никто в ночлежку не заглядывает... Хомлес — не нищие в привычном понимании этого слова. Они не стоят с протянутой рукой, по крайней мере я этого не видел. В отличие от хомлес многие нищие имеют какой-никакой, но кров, имеют семьи, а нищенство — промысел, род заработка. Хомлес — это мировоззрение, у многих хомлес тоже есть дом, даже весьма почтенный дом, есть семьи. Но для них уход от семьи — форма особого протеста, эпатаж, своеобразное понимание абсолютной свободы, «свободы животных», бездумная эксплуатация истинно демократического строя.

Россия тоже весьма богата бомжами — лицами без определенного места жительства, как их определяют милицейские инструкции. Но я не видел, чтобы российский бомж передвигался по городу, толкая перед собой тележку со своим скарбом. В этом, как ни странно, весьма принципиальная деталь. Одно из двух: или российские бомжи не имеют ничего, даже жал-

кого тряпья, или просто срабатывает «закон собственности». У хомлес капиталистическое отношение к собственности — что мое — мое, а у бомжей, как представителей нашего теперешнего «остаточного социализма», нет ничего своего.

К подобному замечанию меня подтолкнула такая история... В Москве жила почтенная семья: глава семьи слыл видным деятелем спортивного мира, жена — известный врач-логопед и шестилетняя дочь, «активистка» старшей группы детского сада. Вполне благополучная семья жила в любви и согласии, пока ее не цапнул вирус эмиграции. Люди решительные, они недолго сомневались... И в Америке семейство преуспело. Глава нашел тренерскую работу в престижной частной школе, жена с первого захода сдала экзамены и получила диплом американского врача. Купили просторный дом, две машины, обзавелись друзьями. Огорчение доставляла дочь. Вначале она просто бредила Москвой, своим детским садом. Ностальгия затянулась и на первые два-три года школьной жизни, потом вроде все образовалось: семейство съездило в Москву погостить, и девочка без лишних соплей и даже в охотку вернулась домой, в Бостон. А в четырнадцать лет, под Новый год, она появилась дома «под кайфом». Сколько родители ни бились — наркотики оказались сильнее. Пока не настигла девчонку первая любовь. Ее свел с ума прекрасный парень, спортсмен, ученик отца. Она забыла о наркотиках, родители вздохнули свободно... А в семнадцать лет она исчезла из дома, сгинула, даже парень не знал, куда подевалась его любовь. Несмотря на оставленную записку, что она «не уходит из жизни, она просто разочаровалась», на ум приходили самые черные мысли. Фотографии девчонки красовались во всех полицейских участках штата Массачусетс. Самые популярные каналы телевидения разнесли известие на всю Америку... Наконец пришло сообщение из Сан-Франциско, за тысячи миль от Бостона, — девчонку видели на каком-то ранчо, где она одно время хипповала, но и оттуда исчезла. Видимо, подалась в хомлес, а это безнадега: если хиппи еще можно отследить из-за их таборного образа жизни, то хомлес — одинокие волки, они практически неуловимы. Длительное время они появляются в одних и тех же местах со своим скарбом, а потом вдруг исчезают, точно проваливаются сквозь землю. К тому же, по сведениям от хиппи, она не типичный хомлес с коляской, полной вонючего

тряпья. Она русская хомлес, бродяжка, свободная от всякого скарба... И дело закрыли. Но вот, спустя два-три года, девчонка воротилась в Бостон. Переболела свободой. Не «хипповой свободой» со своим нравственным кодексом, своим искусством, а настоящей «дисциплинированной» свободой от всего. Как в дальнейшем сложилась ее жизнь, не знаю...

Может быть, и среди тех чикагских хомлес, что переминались сейчас у подъезда бурого строения, есть какая-нибудь беглянка из вполне порядочной семьи. Хотя бы та, маленькая, скрюченная «баба-яга», что держалась у самого входа, подле обшарпанного скелета детской коляски, рессоры которой спрямились под тяжестью черного мусорного мешка, набитого хламом. Ручку коляски украшал ржавый, выдавший виды чайник без крышки. Меленькие круглые глазки хомлес под надвинутой шапчонкой ничем не оживляли багровое, в пупырышках, щекастое лицо с обветренным облупившимся остреньким носиком...

Я собрался было перейти улицу, как дверь подъезда распахнулась, и на тротуар, по пандусу, стали съезжать новые хомлес. С желтыми одинаковыми пакетами в руках. Стойбище ожидающих на улице оживилось, и, пропуская сквозь строй обладателей желтых пакетов, они подтянулись к подъезду. Видно, какая-то благотворительная организация вершит свое богоугодное деяние — кормежку бездомных.

Едва последний «желтопакетник» покинул подъезд, как новая партия потянулась к пандусу... Скрюченной бабе-яге никак не удавалось втиснуться в колею, видно, детская коляска имела вес, нужен был разгон. Я шагнул и, наклонившись, хотел приподнять край коляски, помочь. В нос ударил жуткий запах аммиака. Баба-яга яростно завопила и погрозила мне ладонью, грязные пальцы которой торчали из срезанных напальчников замызанной перчатки. Ей не нужна помощь, обойдется. Я отступил. Ярость удесятерила силы бабы-яги — коляска, скрипя ржавыми колесами, одолела подъем...

Я пересек ближайший перекресток, резко свернул направо и, миновав еще несколько унылых кварталов, вновь вышел на вполне приличную улицу. Витринные окна магазинов текли навстречу, поблескивая роскошью на слюдяном, некрепком морозце. Они давно меня не удивляли: не знаю, где роскошнее витрины — в Москве и Питере или в Нью-Йорке и Чикаго. И по содержанию, и по оформлению. Научились наши ребята,

вошли в рыночные отношения... Но что примечательно — в Москве и Питере, как мне кажется, в магазинах толчется больше народу, чем здесь. Одно из двух — или здесь уже покупать нечего, все куплено, не то что у нас, или наш народ денежнее. Такое вот «растерянное соображение».

Минут через тридцать небыстрой ходьбы я остановился у окна, заклеенного афишами. Нередко помещения, что предлагаются в «рент», в аренду, оклеивают подобным образом. Или на время ремонта... С афиши, на черном фоне, проступил силуэт Кремля под яркими звездами с профилями актеров и актрис. Такой коллаж не мог оставить меня равнодушным. Я проходил мимо маленького театра «Европейский репертуар». А спектакль, о котором вещали афиши, назывался «Звезды на утреннем небе». По пьесе Александра Галина... Сюжет пьесы мне знаком. Несколько девиц легкого поведения выслали из Москвы на время Олимпийских игр. Девушки обосновались лагерем в ста километрах от столицы, где и происходит действие пьесы.

Знал я и автора. Дело давнее. Однажды на киностудии «Ленфильм» в кабинете редактора появился мальчик, иначе его и не назовешь, — огромные карие глаза под буйной вьющейся шевелюрой глядели с тихой грустью загнанного существа, а удлинённый печальный нос не оставлял сомнения в национальной принадлежности его обладателя. Одет посетитель был более чем скромно, даже бедно, особенно бросались в глаза его сандалии — на дворе хоть и весна, но весна ленинградская, холодная, неверная, здесь и летом не часто встретишь человека в сандалиях... На мой вопрос, кто это, редактор ответил: «Саша Пурер. Талантливый человек. Но сценарий — непроходняк, коллегия не утвердит».

И Саша уехал в Москву, кажется, на Высшие сценарные курсы... Вообще, переезд из Ленинграда в Москву в свое время давал людям литературы и искусства реальный шанс вырваться из-под опеки заскорузлой, провинциальной и малокультурной власти, что спесиво правила в городе трех революций... Москва Сашу признала. И МХАТ, и «Современник». Он стал «репертуарным» драматургом. Как-то у Дома актера на улице Горького я увидел Сашу — тот садился в роскошный лимузин в сопровождении двух красавиц. Сандалий на нем уже не было, и, если бы не печальные карие глаза и та же непокорная

шевелюра, я бы не признал его. Кстати, Александр Галин стал не только драматургом европейского уровня, но и режиссером своих пьес и киносценариев. Стоит упомянуть прекрасный фильм «Плащ Казановы» с Инной Чуриковой в главной роли... Порадовался я тогда, проходя мимо чикагского театра «Европейский репертуар», за Александра Галина...

Однако надо торопиться, я прибавил шаг. Два льва, стоявшие у подъезда городского Музея изящных искусств, удивленно глядели на меня каменными бельмами — неужели я не зайду на выставку художника Ирвинга Пенна, упущу случай? Нет, не зайду, спешу на поезд... Через несколько кварталов показался приметный стеклянный билдинг, в преисподней которого бурлил железнодорожный Юнион-стейшен. Вот уже различима абстрактная громадина, скульптура в стиле Генри Мура, изображающая какие-то уши на разорванной трубе. Скорее, скорее в преисподнюю, куда уносит меня сверкающий эскалатор...

Борщ со слезой

Привычка спать днем превратилась для меня в потребность. Привычка генетически передалась мне от отца, Петра Александровича, человека сложной и достаточно суетливой судьбы — гимназиста Херсонской гимназии, беженца с голодающей Украины, библиотекаря бакинского Клуба железнодорожников, заведующего литературной частью Бакинского театра русской драмы, добровольца-санинструктора, закончившего войну с медалью и двумя осколками в легких, полученными на Малой земле, под Новороссийском, мастера-надомника по изготовлению фибровых чемоданов, слесаря по газу на сажевом заводе, пенсионера, упокоившегося в неполные шестьдесят семь лет... Господи, не оставь без внимания этого человека в своих куцах! Человека, которому я обязан не только рождением и, по мнению многих, достаточно скверным характером — хотя есть и противоположные мнения, — но и удивительным сходством: как физическим, так и духовным. Желанием понять истоки тех или иных поступков, сопереживанием, разумным эгоизмом и относительным отсутствием зависти, которая так угнетает

многие судьбы. Слияние с образом отца во мне настолько велико, что я не без тревоги задумываюсь о годах, отмеренных ему судьбой, зная, что и болезни, преследовавшие его, также передались мне. Правда, медицина и фармакология сейчас не та, что была в его время. На то и уповаю...

Отца преследовали две настоящие страсти — книги, которые он приносил из библиотеки в базарной корзине десятками зараз, и дневной сон.

Последняя страсть сопровождалась неизменным ритуалом. Даже в августовскую бакинскую жару мой добрый папа наглухо закрывал деревянные ставни в тесной спальне нашей маленькой квартиры на улице имени писателя Островского, раздевался в темноте (чтобы никто не увидел его белых художнических интеллигентских чресел), залезал на мягкую перину под толстое одеяло и накрывал голову второй тяжелой подушкой, предварительно выкрикнув в крошечную темноту спальни приказ мне и сестре: «Дети! Чтобы тихо было!». И никакие события, то и дело возникавшие в нашем беспокойном дворе, не могли нарушить благодатные минуты его дневного сна. Лишь иногда, когда в нарушение приказа мы с сестрой проявляли некоторое беспокойство, из глубины спальни доносился глухой вопль: «Дайте спать!»

Эта страсть передалась и мне. Без дневного сна я не человек, а хмурое существо, открытое любой провокации... О, дневной сон с его атрибутами: тишиной затемненной спальни, пролистанной при свете настольной лампы газетой, неизменным черным «наглазником», что препятствует проникновению и малой толики дневного света. И наконец, благодатным ожиданием в предвкушении великолепных, законченных сюжетно, цветных сновидений. Если снилась еда, я просыпался вполне сытым; если снилась вода, мне не хотелось умываться; если снилась любовь, я был свободен от забот, порождаемых нетерпением плоти... Словом, весьма удобная форма существования — вторая жизнь и, главное, никаких затрат и усилий.

Вот и сейчас я брел по студеному Чикаго с чугунной головой, испытывая острое желание поскорее добраться до Юнион-стейшен, до своего поезда, до своего вагона, до своего купе...

Зал, в котором размещалась камера хранения, нашелся не сразу. Он выплыл из путаного лабиринта подземных

переходов, напичканных лавчонками, кафе, ресторанами, бюро всевозможных услуг, выбрасывая навстречу спасительные указатели с доходчивыми пиктограммами. Указатели и вывели меня к камере хранения.

Счетчик конечной оплаты требовал от меня шесть долларов дополнительно к тем трем квотерам, которыми я полагал отделаться за шестичасовое хранение моего багажа. Нехило!

Это, естественно, не улучшило мне настроение. «Бандитский город», — ворчал я, волоча по мраморному полу свой чемоданчик на колесах. Со стороны чемодан походил на крупного черного жука-броненосца, которого тащили за усы. Непредвиденные траты в камере хранения создали затруднения с покупкой снеди в дорогу — пришлось ограничиться порцией худосочной пиццы, толщиной с папиросный листок, и банкой кока-колы. Утешала мысль о предстоящем благостном сне. «Даже не взгляну больше из вагона на этот грабительский город, буду спать», — мстительно думал я, разыскивая взглядом платформу номер восемь, где, согласно билету, ждал меня поезд компании «Амтрак», следующий по маршруту Чикаго — Лос-Анджелес...

Конструкция с высоким алюминизированным каркасом походила на рефрижератор, если бы не продолговатые окна на двух уровнях — первого и второго этажей, разделенных надписью «Спальный вагон». В распахнутых дверях встречала пассажирова проводница — скуластая и смуглая, с по-мужски широкими плечами и черными прямыми волосами, на вид казавшимися жесткими, точно проволока. На джинсовую рубашку, вольно падавшую ей на брюки, было накинуто цветастое пончо с аппликацией. Типичная индианка из племени команчей или делавар. Проводница держала в руке листок-распечатку, где значилась и моя фамилия, что меня, признаться, удивило. Впрочем, я вспомнил, что билет был заказан моей доченькой через туристическое агентство...

Закинув чемодан в багажный отсек, я протиснулся узким коридором к своему купе, раздвинул дверь-гармошку. «Черт возьми, и это — первый класс?» — подумал я, глядя в тесный пенал с двумя полками. Нижняя полка-диван располагалась на уровне моих коленей, верхняя в нерабочем положении пласталась по стене.

— Думаю, вам будет удобно, мистер, — проговорила проводница, горячо припечатав могучей грудью мою спину. — Пожелаете отдохнуть, поверните эту ручку, здесь все написано. Через два часа можете подняться на второй этаж, в ресторан, вас ждет ужин. Будут вопросы — на этой панели кнопка вызова проводника.

Она вышла. Я остался в купе с чувством неясной досады. Этот казарменный аскетизм обстановки купе первого класса, ожидание ужина, которое наверняка внесет беспокойство в сладость дневного сна... Да и какой, к черту, ужин, когда солнце даже не спустилось к горизонту?!

Продолжая мелочно брюзжать, я повернул ручку дивана. Преломившись с липким шорохом, нижняя полка вздулась и приняла форму двух стульев со столиком посредине. Понравилось. Я вернул ручку в исходное положение. Стулья и столик вытянулись в ровную полку... Еще раз...

Поезд подбирал последних пассажиров. Громко топая и переговариваясь, кто-то занимал соседнее купе. Устроившись, там потребовали кофе со сливками. Голос проводницы оповестил, что кофе, сливки, хрустящие хлебцы, сок, апельсины, сахар, джем — все это ждет пассажиров на площадке второго этажа, у входа в стеклянную галерею на крыше вагона...

Между тем поезд снялся с места и принялся не спеша пересчитывать светильники туннеля, устремляясь на волю. Черный глянец стекла размывал подступающий из зева туннеля дневной свет — и вскоре он резко и радостно ворвался в сумрак купе. Вновь проем окна принялся фотографировать панораму Чикаго. Но Чикаго уже не был для меня таинственным городом, полным романтики из гангстерских фильмов, теперь я мог сказать: я видел Чикаго своими глазами. Смешное брюзжание рассеялось, ушло как вода в песок. Память удерживала прекрасный город — могучий, величественный город людей. Фоторама окна быстро проявила уже знакомый купол стадиона, потом его сменили два огромных корабля, покрытых голубоватой наледью. Вдоль окна протянулась длинная шеренга яхт, что стояли у своих причалов, прокалывая низкое небо пиками бесчисленных мачт.

Яхта — особая гордость жителей Нового Света. Американцы проживали разные этапы «национальной привязанности» — автомобили, самолеты, компьютеры, Интернет, — но все

эти этапы сопровождала одна неизменная страсть — яхта. Она стала олицетворением американского образа жизни. Яхта — символ богатства и свободы. Многие американцы, которым не по карману роскошная яхта, живя вблизи воды (а то и не вблизи), нередко имеют что-нибудь плавающее — лодку, парусник, скутер, катер... Это увлечение объясняется тем, что Америка, в сущности, гигантский остров, заброшенный судьбой в океан, далеко от берегов Старого Света, колыбели многих эмигрантов. И как каждый островитянин испытывает мистическую тягу к воде, так миллионы американцев мечтают о собственной яхте.

Спать, как ни странно, мне расхотелось — предвосхищая скуку одинокого вечера, надо подготовить себя к полноценному ночному сну. К тому же мысль об ужине возбуждала меня своей романтической тайной...

Славный подарок преподнесла мне дочь — такую поездку. Память скакнула лет на тридцать назад, когда дочь десятилетней девочкой входила в сознательный возраст. Нельзя сказать, что тогда у нас было взаимное понимание. У жены — да, дочь с ней жила душа в душу, так мне казалось сквозь шоры мелочного отцовского эгоизма... С каких пор я почувствовал настоящее отцовство, то есть физическую ответственность за судьбу существа, которому дал жизнь? К сожалению (или к счастью), я не имею опыта полноценного отцовства — у меня единственная дочь, а это совсем особый случай. Человек, обладающий двумя глазами, не может представить себе ценность каждого из них в отдельности, пока не станет одноглазым, — этот жестокий пример мне кажется точным как никакой другой... Судьба единственного ребенка как-то «концентрированно» тревожит родителей. И тем горше ощущается разлука, пусть лишь разлука эмиграции...

Но все уже в прошлом. И ее детский садик, и школа с институтом, замужество, эмиграция, развод, вольная жизнь, второе замужество, бизнес... Теперь она сорокалетняя женщина, которой никто не даст больше тридцати, — высокая, смуглая от калифорнийского солнца, с великолепной фигурой, с лицом южноамериканской киноактрисы, омытом водопадом черных волос. И это красивое, удачливое — трижды плюну через плечо — создание есть моя дочь?! «Не верю!» — сказал бы я словами Станиславского. «И правильно делаешь! — ответила бы

моя жена. — Что у нее от тебя? Только рост. В остальном она — вылитая я...»

И действительно. Я поднимаю руки... Что общего у молодой, красивой, пахнувшей дорогими французскими духами женщины с седым, носатым, бледнолицым пенсионером, скрывающим за сухими губами паршиво сделанные зубные мосты? Ни-че-го! Еще в полутьме ночного вагона можно как-то обознаться, что и произошло с темнокожей Мэри, а при дневном свете — никаких иллюзий... Возможно, поэтому — странное дело — я неизменно испытываю смущение, когда дочь проявляет свои дочерние чувства: то костюмы мне купит сногшибательные, сразу два, с полной экипировкой — от туфель до галстука, то закажет дорожные билеты в театр, то незаметно подкинёт денег, то оплатит путешествие через всю Америку... «Ты смущаешься оттого, что еще молодой и гордый, — говорит она. — Не можешь понять, что я... все-таки дочь, а не посторонняя женщина. И свыше двадцати лет живу вдали от тебя, большую часть жизни». — «Не привык к такому вниманию», — с манерной галантностью отвечаю я. «Бедный папа. Ты не привык, ты — отвык за годы холостой жизни».

То слово, то целая фраза, то интонация, пробуждаясь в памяти, вплетались в перестук колес, а темнеющая на глазах панорама за окном вагона чудом переливалась в образ дочери, как цветные стеклышки в калейдоскопе... Говорят, что с генами передаются и черты характера. Сомневаюсь. Если бы дочери передались мои черты характера — склонность к компромиссам, чрезмерная сентиментальность и жалостливость; не то чтобы жадность, а расчетливость; боязнь остаться в дураках, благодаря которой я частенько и остаюсь в дураках; какая-то нервическая эпатажность, из-за которой нередко оказываюсь в смешном положении; разбросанность мыслей, как результат нетренированной памяти, — если бы все это передавалось по наследству, вряд ли дочь добилась бы того, чего добилась. Впрочем, возможно, дочь впитала здоровые, творческие гены жены, хотя качества эти у жены, в силу обстоятельств, не получили практического воплощения, а у дочери — получили. Вероятно, второе замужество дочери пробудило подспудно заложенные в ней черты характера. Или просто с годами эти черты проявились активнее, как форма самозащиты и самоутверждения. Отсюда деловая хватка и вместе с тем антипод

этому качеству — безудержная щедрость, искренняя и радостная. Отсюда твердость характера, доходящая до непреклонности.

Помнится случай... После долгой разлуки дочь приехала ко мне погостить. Я приготовил обед. Должен заметить, что холостяцкая жизнь имеет массу своих плюсов, один из них — удовольствие от приготовления пищи. Словом, предвосхищая радость дочери, я пригласил ее отведать с дороги отцовского борща. Получив отказ, я растерялся и обиделся, как ребенок, у которого отняли игрушку. Принялся настаивать... «Хотя бы одну ложку, — канючил я. — Ну на кончик языка, только пригуби. Я трудился все утро!» Мои уговоры были тщетны — напротив, дочь только рассвирепела в своем упрямстве...

Хлопнув дверью, она заперлась в спальне... О, скупые отцовские слезы! Кто их видит?! Несколько минут я сидел с остывшей ложкой борща на весу, потом слизнул языком янтарную жирную пленку, вернул ложку в тарелку, вздохнул и пошел мириться...

«Ты всегда был упрямец, — прокомментировала жена мой рассказ, позвонив по телефону из Нью-Йорка в Петербург. — Ну не хотела девочка пробовать твой дурацкий борщ! У нее свое меню — соки, овощи, фрукты. Посмотри на ее фигуру, а потом на свою, упрямец!» — и повесила трубку.

«Упрямец?! — душила меня обида. — Неужели так трудно было попробовать ложку борща? Одну ложку! В первый день встречи после долгих лет разлуки? Да, возможно, я упрямец, но я же как-никак отец. Но каков характер доченьки? Кремень!»

В глубине души я гордился ею — мне всю жизнь не хватало твердости характера. Нередко твердость характера я подменял нервной злостью, граничащей с истерикой. Возможно, это возрастное. Но со стороны наверняка выглядит жалко...

Боб из штата Колорадо

Преодолевая болтанку быстрого вагона, я, цепляясь за поручни винтовой лестницы, поднимался на второй этаж. По пути, в распахнутой двери багажной секции, поверх че-

моданов пластались лыжи. Голубые, с яркой белой полосой. «Где-то мне они уже встречались», — подумал я и, толкнув послушную дверь, вошел в ресторан. Меня притягивали поезда вагоны-рестораны, этот вертеп самых отъявленных прохвостов, многих из которых повыгоняли за проделки из обычного общепита. Наездился, насмотрелся по нашим российским дорогам. И все равно бесшабашная удаль официантов в застиранных фартуках с торчащими из кармана маленькими деревянными счетами, на которых всегда дважды два выходило шесть, запах «суточных щей» и котлет с макаронами плюс бутылка «Жигулевского» сокращали томительность пути. А теперь вот вагон-ресторан поезда компании «Амтрак»...

Яркий люминесцентный свет шпарил с потолка на шестиместные столы, забранные сероватыми скатертями, с пышным букетом цветов посередине. Вдоль кромки стола, в ожидании гостей, впечатались шесть наборов тарелок — мал мала меньше — в окружении вилок, ножей и салфеток. Из гостей, видимо, я был первым. Официантка — миловидная пухленькая блондинка, похожая на кинозвезду сороковых-фронтных Людмилу Целиковскую, — шагнула навстречу. Уточнила, из какого я купе, и, предложив местечко у окна, протянула меню в кожаном окладе.

«Все оплачено — заказывай что хочешь. Попробуй, для начала, салат овощной и, пожалуй, салат из крабов. Далее, скажем, стейк с картофелем-гриль, — ликовала душа. — Но вначале лососинки — на закуску. Вина заказать. А лучше виски с тоником. Впрочем, виски к стейку — куску мяса — не принято, лучше все-таки вино... Кофе с тортом. И мороженое. И сигареты «Мальборо», хоть я и не курю, но раз все оплачено — грех отказываться. Еще бы к этому меню такую красотку, как официантка, полный был бы кайф...»

Официантка приняла заказ, после чего, продолжая улыбаться, сказала, что, если мистеру будет ночью не по себе от столь обильного ужина, она принесет еще таблетки «Алька-Зельцер» — помогает от тяжести в желудке...

— Мистер, вероятно, из России? — спросила она, чтобы смягчить проскользнувшую бестактность, и добавила беспечно: — А я родом из Польши, — и ушла, покачивая крутыми «польскими» бедрами, обтянутыми синим атласом.

«Вот стерва! Будто из своего кармана оплачивает мой заказ», — я смотрел ей вслед и вспоминал Варшаву шестьдесят шестого года, свою первую загранкомандировку от завода «Геологоразведка» и прелестную пани Христину, дежурную по этажу в гостинице «Нова Прага», что на левом берегу Вислы, за мостом. Бедер, как у Христины, я не встречал ни в одном журнале. Такие бедра доступны лишь альпинистам, и я каким-то образом оказался в их числе... Тогда я был молод и удачлив, не то что сейчас... Я скопил глаза к черному гляncу ночного окна, увидел свое отражение и вздохнул — для обладателя подобного профиля даже куриное бедрышко большая удача...

А за окном, в кромешной тьме, простирался штат Миссури, названный, как и штат Миссисипи, по названию протекающей в его пределах реки, которая вместе с рекой Миссисипи считается самой протяженной рекой мира. На ее берегах козырял сорванец Том Сойер, и здесь же родился его создатель, писатель Марк Твен, человек, прославивший штат Миссури. Прославил свой родной штат и крупнейший поэт Америки Томас Элиот. Кстати, и тридцать третий президент Гарри Трумэн, что родился в Миссури, внес свой вклад в историю страны не только первой атомной и водородной бомбой да созданием НАТО, но знаменитым планом Маршалла, что поднял Европу из руин Второй мировой войны... Лично мне штат Миссури пришелся по душе тем, что символом его стал куст кизила.

С детства я обожал кизиловое варенье. Своим густым гранатовым цветом, нежным кисло-сладким вкусом, варенье не имело себе равных... Так что я понимаю жителей штата Миссури. И птичка-синичка — маленькая, голубая, голосистая по весне — тоже была выбрана символом штата удачно, ничего не скажешь...

В темень вагонного стекла стали постреливать огоньки. Вначале одинокими выстрелами, потом целыми очередями и, наконец, залпами — мы въехали в какой-то населенный пункт. Сочные рекламы, люди, магазины, автомобили, дома...

На фронте скромного здания вокзала высвечивалась надпись — «Канзас-Сити. Штат Миссури». Хорошенькое дело! Откуда он тут взялся, этот Канзас-Сити? Ведь до самого шта-

та Канзас по расписанию осталось более часа хорошего хода. Выходит, существуют два Канзас-Сити...

Да, веселые дела творились в этих местах в стародавние времена. Подумать только, совсем недавно, без малого двести лет назад, гигантская территория, распростертая вдоль самой протяженной реки мира с севера на юг, принадлежала Франции и называлась Луизианой. Это пятьсот миллионов акров земли — больше, чем вся площадь Соединенных Штатов в те времена. Первый консул Франции Наполеон Бонапарт готовился к будущим победоносным войнам, готовился стать повелителем Франции. А тут лишние хлопоты о заморских колониях, да и деньги не помешают... Вот он и предложил Соединенным Штатам купить у Франции Луизиану, а заодно и Новый Орлеан, в общей сложности за пятнадцать миллионов долларов. Таким образом, каждый акр земли обошелся казне Соединенных Штатов в четыре цента. Неплохая сделка. «Луизианская покупка» разом удвоила просторы США. Позднее на территории Луизианы полностью или частично разместились земли вновь образованных тринадцати штатов, в числе которых был и штат Миссури, по которому и отсчитывал сейчас свои ночные мили поезд компании «Амтрак». Путем, по которому пролегла знаменитая Дорога на Санта-Фе, что протоптали толпы золотоискателей, устремившихся на Дикий Запад. И кстати, весьма обогативших казну штата Миссури «данью за транзит»...

Великие события когда-то переживал этот штат, да и войны гремели нешутейные в гнездовые рабовладельческого Юга.

Где-то в этих краях стояла хижина дяди Тома, вызвавшего своей судьбой сочувствие и сострадание. Знаменитый роман Бичер-Стоу сыграл в победе Севера большую роль, морально подавляя дух противников аболиционизма. А замечательный роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», события в котором привязаны к этим местам, вообще «закрыл тему» Гражданской войны США — этот американизированный вариант «Войны и мира»...

За окном поезда мрак ночи еще плотнее сгустился после яркой панорамы Канзас-Сити, некогда самого крупного города бывшей французской колонии... В черном зеркале стекла было видно, как официантка подсаживает к моему столику нового клиента. Приняла заказ и отошла. Я обернулся и увидел — о черт! — того самого малого, что сопровождал меня до Чикаго своим свистом. Вот чьи лыжи пластались в багажном отделении...

Паренек сидел в своей спортивной кепке со сдвинутым в сторону козырьком, натянутой на коромысло наушников, шнур от которого тянулся к плееру. На вид ему было не более двадцати лет. Прикрытые веки оперяли короткие редкие

рыжеватые ресницы. Впалые щеки изможденного лица окропили веснушки... прошло несколько минут в тревожном ожидании — примется ли он свистеть, дослушав музыку, или нет?

Меня нередко приводила в изумление склонность американцев свистеть во всю мочь в любом общественном месте. И хоть бы кто отреагировал, сделал замечание свистуну; неспроста старина Эдди Уайт с такой неохотой отправился умирать этого паренька по моей просьбе...

Я оглядел салон — практически все столики уже были заняты. В глубине вагона, у сверкающей никелем стойки хлопотали официанты и обслуга. Вспыхнула сигнальная лампочка, створка стойки приподнялась, и в проеме, откуда-то снизу, точно лифт, всплыла площадка, уставленная тарелками. Официантка, похожая на Целиковскую, отделилась от подруг, шагнула к раздаточному проему и принялась переставлять на поднос заказ... Я ждал ее, борясь с искушением провести ладонью по синим атласным бедрам. Просто наваждение какое-то. сосед-паренек сидел по-прежнему смиренно, словно Будда.

Обдав волной парфюмерного аромата, официантка принялась разгружать поднос, аккуратно выставляя на стол тяжелые широкие тарелки с фирменным вензелем. На одной из них возлежал здоровенный кусок мяса под смачной румяной корочкой в окружении золотистых картофельных стружек, обильно осыпанных укропом и подбитых зеленью спаржи, лука, фиолетовыми ушками рейхана. Подле тарелки заняла место изящная бутылка темного вина, над вскрытым горлышком которой вился студенистый пар. Две фарфоровые чаши, одна за другой, представили взору кипень овощного салата и салат из крабов — россыпь каких-то буро-пятнистых и желтовато-серых фрагментов, усыпанных маленьким горошком. Не забыла и лососину, несколько розовых ломтиков которой зарылись в колечках лука и редиса. Две горбатенькие булки сыто разлеглись на салфетке рядом с набором специй и соусов...

Официантка отставила поднос и ловким движением полноватых рук, одна из которых была перехвачена в запястье золотистым браслетом, расставила тарелки согласно протоколу: ближе ко мне — закуски: лососину, салаты и вино, поодаль — тарелку с мясом и совсем в стороне — булочки со специями. Потом положила передо мной пачку «Мальборо» с фирменным

спичечным коробком, пожелала приятного аппетита, шагнула к соседу и перенесла с подноса на стол булочку, пакет с сырковой массой и пластмассовую баночку йогурта...

Паренек приподнял рыжие ресницы, скосил изумленные глаза на мое пиршество и... присвистнул. Перевел взгляд на меня, и выражение изумления возросло. Ловким движением, не касаясь кепки, он сдвинул на затылок коромысло наушников и, растягивая в улыбке тонкие пергаментные губы, пробормотал: «Горбачефф?!» Я кивнул и сурово, дабы отринуть всякую попытку к общению, принялся за еду.

— И это все вы слопаете, сэр? — поинтересовался паренек, не обращая внимания на мою демонстрацию.

Сухо кивнув, я разворошил овощную грядку.

— Пожалуй, и я бы с этим справился, — рассудительно продолжал сосед, — но с утра...

Салат оказался довольно вкусным. А еще предстоял салат из крабов.

— Хочешь, я поделюсь с тобой? — вдруг произнес я, выразительно взглянув на сиротский йогурт соседа.

— Что вы? Я и сам мог бы заказать такое, — ответил парень. — Но на ночь есть вредно. Меня так приучили.

— В твоём возрасте я ел днем и ночью, — буркнул я. — Да и теперь, как видишь, не сдаюсь.

— А сколько вам лет? — Паренек перехватывал инициативу. Меня это рассмешило.

— Лучше скажи, как тебя зовут? — произнес я.

— Боб!

Разрази меня гром, если вру, — паренек буквально с кончика моего языка подхватил это имя.

— Так я и знал, что тебя зовут Боб, — засмеялся я. — Ты как-то похож на... Боба.

— Боб, — подтвердил паренек. — Правда, в детстве меня звали Фанни.

— Ты и впрямь «смешной», — одобрил я. — И чем ты обрадовал этот мир, Боб?

— Этот паскудный мир, сэр, можно обрадовать только своей смертью, — не раздумывая ответил парень.

Я замешкался, потом рассмеялся — так нелепо контрастировала внешность парня с серьезностью его замечания, с тоном, каким оно было произнесено.

— Однако ты не очень торопишься обрадовать этот мир, парень, — сказал я. — Дорогие лыжи... Вокман, который не сползает с твоих ушей. Живешь на всю катушку — и такие мрачные мысли... Небось едешь в Колорадо, кататься на лыжах?

— Еду домой, в Пуэбло, штат Колорадо. А лыжи мне подарил один чудик. Они ему чем-то мешали. Такие лыжи стоят дорогого автомобиля. Сделаны по заказу. Впрочем, вы наверняка в этом ничего не смыслите.

— Верю тебе на слово. — Мне не хотелось прерывать разговор, мальчишка вызывал симпатию.

— Я подвез тому чудику какой-то важный документ. Он прыгал от радости. А когда узнал, что я родом из Колорадо, подарил мне лыжи. А мисс Бреджес, моя хозяйка, решила, что я их где-то стибрил, — такие лыжи на гарбиче не валяются... Хотела заявить в полицию, а я собрался и дунул от нее домой, в Колорадо. Из-за таких дамочек, как мисс Бреджес, хочется удавиться. У нее никогда не было мужа. В молодости ее еще натягивали, а когда состарилась — плюнуть никто не хочет, вот она и ярится. Вначале ко мне приставала — еле отвязался, на ночь дверь шкафом перегородивал...

— Подожди, — не понял я. — Твоя хозяйка? Комнату у нее снимал? Съехал бы, и дело с концом.

— Съехал... Она вперед с меня деньги взяла за полгода. А с лыжами допекла. Черт с ней, пусть подавится моими деньгами. Местечко, правда, у нее было неплохое, на углу Колумбуса и Сорок седьмой Манхэттена. Можно было днем заехать, отдохнуть от работы.

— А кем ты работал?

— Мессенджером. Вообще-то я рок-музыкант. Играл на гитаре. Но ребята разбежались, и я пересел на велосипед.

Лососина показалась слишком соленой, пришлось ее отодвинуть. А может, просто не терпелось приступить к стейку, но слишком уж большой кусок, даже два куска.

— Слушай, Боб, выручай... Я, видно, пожадничал.

Паренек пожал острыми плечами.

— Не робей, Боб. На одном йогурте можешь на лыжах не устоять.

Я придвинул к нему чистую тарелку и переложил в нее часть своего заказа — кусок стейка, салат, потом плеснул в бокал вина...

Боб вскинул маленькие красноватые глазки, обрамленные ржавыми ресницами, и, отбросив стеснение, приступил к еде с яростью оголодавшего щенка. Вероятно, обед в вагоне-ресторане не входил в стоимость его билета.

Некоторое время мы резво уплетали и периодически чокались. Вино оказалось не только холодным, но и приятным.

— Оно вкусное, потому что холодное, — поправил меня Боб. — Вы не пробовали вино моего отца. У нас на Великих равнинах есть ранчо с виноградником. Отец и вкалывал там, как кореец. А вообще-то старик работал на заводе резиновых изделий. Он и меня хотел туда определить, но я сбежал...

В вагоне-ресторане было шумно и весело. Пассажиры переходили от столика к столику с вином и тарелками в руках — видимо, ехали люди знакомые между собой или туристическая группа... Временами кое-кто из них покидал ресторан и, пройдя коротким коридором, исчезал за торцевой дверью вагона. Потом возвращался... Торцевая дверь вела на обзорную площадку, примыкавшую к ресторану.

Я не спешил попасть на площадку — ночью ничего не видно, а завтра, поутру, все будет наверняка ярче и острее.

Понемногу Боб «распотрошил» меня — любая информация о России вгоняла его в состояние неистового восторга. Он хлопал ладонью по столу и переспрашивал. Однако он и сам многое знал... Боб слышал о Ленине и Горбачеве. Знал писателей — Солженицына и Ломова (или Сомова, я не понял). И о Чайковском слышал — как-никак музыкант, хоть и «рок», от Чайковского он даже балдел... Что касается города Санкт-Петербурга, то тут Боб стоял насмерть: это американский город в каком-то штате, и все! А насчет красивейшего города мира, так это я вообще перегнул палку: самые красивые города — Нью-Йорк, Вашингтон и Денвер. Ну может быть, еще Роттердам, он слышал о Роттердаме от отца, который в молодости плывал моряком и бывал там...

— Клянусь, Боб, я тебя сейчас стукну по затылку! — взъярился я не на шутку. — Нельзя же быть таким... Тебе двадцать лет, ты закончил школу, читал книги, смотришь самые разные кинофильмы. Наконец, ты музыкант... Слушай, может, ты меня разыгрываешь? — осенило меня. — Может, ты считаешь, что человек из России — нечто вроде индейца племени навахо? И притворяешься, чтобы не обидеть меня своей ученостью?

А, Боб, признайся! — Я был обескуражен — рядом со мной сидел типичный американский оболтус...

Боб сник. Опустил плечи, лениво гоняя по тарелке стружку картофеля.

— Вы бы слышали, как я играю на гитаре, — произнес он тихо. — Вы сразу бы поняли, что этот малый не промах.

— Да, жаль, что я не слышал, как ты играешь на гитаре, — согласился я.

— И не услышите, — вздохнул Боб. — Гитару сломали... Когда распалась группа, я решил стать койотом, играть на себя, в одиночку. Подобрал местечко на Таймс-сквер, там часто ошиваются разные фаны... Подошел какой-то пуэрториканец и сказал, чтобы я убирался, это его место. Он играл на какой-то железяке с усилителем. Неплохо у него получалось, в стиле хеви-металл... Я перебрался на Ист, встал через квартала два. Играю. Вдруг он подбежал и палкой начал дубасить по моей гитаре...

Боб не закончил рассказ и поднял глаза. Позади меня стояла улыбчивая официантка. Выяснив, что нам ничего больше не надо, протянула желтый квиток. Надо было расписаться. Первым поставил закорючку Боб. Вторым — я...

— Простите, мистер, — сказала официантка. — С вас еще шестнадцать долларов и десять центов.

Я разинул рот...

— Сожалею, мистер. Вино и сигареты не входят в оплаченное фирмой меню. И лососина тоже. Рыба значит как деликатес.

— Но... вы должны были предупредить, — пробормотал я, чувствуя жаркий прилив к голове.

— Я предупреждала вас. Сказала, что принесу «Алька-Зельцер» в случае, если вам станет плохо от такой нагрузки. — Ее полные губы ехидно улыбались, и в этой улыбке мне виделась застарелая «любовь» Польши к России.

— Да. Деликатное предупреждение. Дипломатическое.

Официантка выжидательно помалкивала. Я нервно оглянулся и уловил любопытствующие взгляды тех, кто сидел за ближайшими столиками.

— Хорошо. Деньги у меня в купе, — буркнул я. — Но учтите — лососина оказалась... слишком большим деликатесом, я к ней едва притронулся. А сигареты... Я вообще не курю. Пачка как лежала, так и лежит.

— Это меняет дело, — безучастным тоном произнесла официантка и взглянула в своей реестр. — Тогда с вас четыре доллара за вино.

— О'кей! — хмельно подал голос Боб и поднялся с места, разгибая свою тощую фигуру, точно лезвие складного ножичка. — Плачу за вино! Боб положил на стол пятидолларовую купюру. — Четыре за вино и один доллар — ваши типы.

Президент Авраам Линкольн с усмешкой смотрел на происходящее из своей овальной рамочки в центре зеленоватой пятидолларовой бумажки. И вроде подмигивал... Официантка подобрала «президента» и выложила на стол доллар сдачи.

— Спасибо. Но типы мы не берем, — ехидно произнесла она. — Типы входят в счет общей оплаты компанией «Амтрак».

Теперь со стола из своей овальной рамочки следил на конфликтом уже другой президент — Джордж Вашингтон. Боб не стал упираться и вернул доллар в свой карман. Все произошло настолько стремительно, что я не успел отреагировать...

Мы с Бобом направились к выходу из ресторана. На душе было скверно. Так, вероятно, чувствовал себя Киса Воробьянинов, когда покидал аукцион в сопровождении Оси Бендера. И дернуло меня оставить в купе кошелек! Боб же чувствовал себя вполне прилично, бокал вина оказывал свое действие. Он шел впереди, вскинув голову, покрытую кособоким кепарем, сунув руки в карманы и... насвистывая. У багажного отсека он придержал шаг и взглянул на свои лыжи...

Купе Боба размещалось у самой лестничной площадки. Четырехместное и довольно просторное. Спешить было некуда, и я, поддавшись уговорам, согласился погостить у Боба, благо купе он пока занимал один...

— В Канзасе подсядут. — Боб расположился на своей койке.

Я присел напротив... Вдруг, осененный внезапной идеей, Боб выскочил из купе. Вскоре он воротился, держа на белом подносике две чашки кофе и кучу всякой съедобной мелочи — сухарики, чипсы, цветные конфетки. В довершение вытянул из кармана штанов бутылку вина с такой же этикеткой, как у той, которую мне подали в ресторане.

— Ну?! — вскричал Боб. — Навалом всего в коридоре — бери сколько унесешь...

Я лишь покачал головой...

— Чем же ты занимался в Нью-Йорке? Мессенджер? Рассыльный, что ли?

— Угу. На велике. — Боб надорвал пакетик с чипсами. — В Нью-Йорке полно мессенджеров. Видели?

Еще бы! Видел ли я этих парней! Их безрассудство и дерзость меня изумляли. В потоке автомобилей они, бешено вращая педали своих велосипедов, проникали в любую щель, вызывая оторопь и проклятия водителей. Подрезая радиаторы, мессенджеры исчезали в глубине автомобильной стаи, вздыбив, точно акульки плавники, свои горбатые рюкзаки, из которых порой торчали весьма «негабаритные» предметы — тубусы, рулоны и прочее. При этом мессенджеры на ходу вели переговоры по сотовому телефону с клиентами, уточняя адреса и условия доставки. Вероятно, и заработок при таком риске нестыдный...

— Больше четырех сотен в неделю не получалось, — вздохнул Боб. — Но другой работы не было. Сколько ребят бегают без работы, живут на пособие — велфер. Вы бы смогли жить на велфер? Триста долларов в месяц... То-то. И потом, я таких впечатлений набрался, надолго хватит... Вы были когда-нибудь, скажем, в «Карнеги-корпорейшен» на Медисон? Или в «Банк оф Нью-Йорк», на Двести восьмидесятом Бродвее? Или у ребят в «Коламбия Брокгастинг компани», на Пятьдесят второй улице? То-то. А я был. Видел, как они там окопались. Такой дизайн и королям не снился...

Серые глазки Боба азартно блестели. Рыжие патлы елочной мишурой выбивались из-под замызганного кепаря. Острый носик вздрагивал, втягивая прозрачную каплю, грозившую капнуть в пластмассовую чашку с кофе.

— Можно подумать, что тебя там везде встречали цветами, — подначил я.

— Честно говоря, дальше мейл-рума меня пускали не часто, — вздохнул Боб. — Но и в почтовой комнате можно кое-что увидеть. Вау! Я и в русских офисах был. Компания «Транс-коммодитес» в Эмпайре. Вы знаете эту компанию? — запнулся Боб, заметив мою заинтересованность. — Привез им какой-то важный пакет. Вообще, наши ребята не очень любят ездить к русским — хорошо, если выплатят диспетчеру положенные за доставку деньги, а то еще и по шее дадут, найдут повод... Так о чем я? Да, привез я пакет в Эмпайр, только собрался уйти, как

меня позвали к самому боссу. Тот сидит в кабинете, за окном весь Манхэттен, птиц со спины вижу. Босс мне говорит: «У тебя легкая рука, Боб. Хороший пакет привез». И дал мне сорок долларов. Неплохо, верно?

Я улыбнулся. Наверняка пакет этого парня принес моему старому знакомому Сэму немалый заработок — миллиончик-другой, не меньше...

— Трудно устроиться мессенджером, Боб?

— Не-а. Диспетчер запишет фамилию, выдаст рацию, подберет велик. Садись на велик и едешь. Берешь посылку в одном месте, отвозишь в другое место; главное — взять расписку в получении. Все! Заказчик платит диспетчеру от десяти до пятнадцати долларов, в зависимости от дальности доставки. Мессенджер получает долларов семь, а с вычетом налога остается доллара четыре. Негусто.

— Да. Скучно.

— Всякое бывает. — В глазах Боба вспыхнули озорные огоньки, он бросил в рот горсть чипсов и подмигнул. — У мессенджеров тоже случаются истории... Приезжаешь за посылкой, а там тебя дожидается... — Боб пылливо оглядел меня: продолжать, нет? Но слишком велико искушение выглядеть молодцом. — Сами понимаете, скучает тетушка. И все уже готово. Постель, как арена в Медисон-сквер-гардене... Ну натягиваю презерватив и отрабатываю свою пару сотен за визит. Иногда такая дамочка попадает, что и глаза закрывать не надо... А пара сотен еще никому не мешала, верно?

Я кивнул — верно, не мешала...

— Одна такая тетка меня раза три вызывала. Потом что-то перестала. То ли муж вернулся, он у нее на Аляске работал, то ли померла. Старая была, лет пятидесяти. — Боб смутился, глянул испытывающе исподлобья.

Но мой смех его приободрил. Боб придвинул бутылку с вином.

— А бывает еще... Только тут диспетчер умывает руки. Передает заказ как заказ. Но с просьбой клиента перезвонить ему на бипер. На ходу перезваниваешь, а клиент дает новый адрес. Ну приезжаешь туда, берешь пакет, отвозишь. Платят неплохо. А если проколешься, остановит полиция, обыщет, тогда будет очень плохо...

— Не понял, — признался я. — Что это за пакет?

— Гм... Наркота, конечно... Тут, главное, не расколоться, не выдать адресок. Иначе тебя могут и наказать. Одного парня пристрелили.

— И ты развозил наркотики?

— Так я вам и рассказал, — ухмыльнулся Боб и раскупорил вино...

Виктор Федорович — человек из Ташкента

Когда я проснулся, поезд стоял. Солнце жирно текло в щели оконной шторы. Раздвинув полоски жалюзи, я прочитал на фронте неказистого здания вокзала: «Ламар, штат Колорадо»... Доброе утро, Колорадо! Помнится, на факультетских вечерах в моем бакинском институте мы пели под гитару песню со словами: «Девушка из штата Колорадо — та-та-ти-та. Девушка из Колорадо-Спрингс»... Где же тот знаменитый Колорадо-Спрингс, столица зимних всемирных Олимпийских игр? Вероятно, там, где даль морщат ломаные контуры Скалистых гор. А здесь, на Великих равнинах, где притулился убогий городишко Ламар, унылая для глаз скучища. Тот же безликий пейзаж, который я проспал, пересекая Канзас...

Наскоро приведя себя в порядок, я отправился завтракать. Официантка с обольстительными бедрами, обтянутыми эластиком брюк, встретила меня улыбкой. Не старайтесь, пани, на этот раз я не дам вам провести себя за нос — выужу из меню только то, что оплачивает фирма... Кофе, омлет с сыром, булочку с джемом. Заказал и отвернулся к окну. Вероятно, мой вечерашний дружок, мессенджер Боб, еще дрыхнет. Да и вообще в ресторане пока было пусто.

Завершив трапезу, я расписался на счете, тем самым подтвердив законность своего завтрака, и, поднявшись, направился к заветной двери, что вела на смотровую площадку...

Вау! Так это я оказался самым соней — салон был заполнен пассажирами, усердно глазеющими на штат Колорадо сквозь стеклянные стены смотровой площадки. И впрямь американцы не упустят то, за что уплачено... Виногато улыбаясь, я разыскал свободное кресло и торопливо нырнул в его податливые кожаные объятия.

За прозрачной стеной, словно меха гармони, растягивались хмурые февральские поля, точно как где-нибудь в средней полосе России. Вот тянется низкое белое строение, огражденное кольями с перекладинами, наподобие кошары. Блеснула спина реки. Появилось небольшое озерцо с какой-то игрушечной с виду плотиной... Степь, степь. И вновь участок, огороженный проволокой, со сторожевыми вышками по углам, в центре участка — глухое строение, возможно тюрьма. А может, что-нибудь по военной части?

Надо заметить, что за время пребывания в Америке я ни разу не видел человека в военной форме — ни разу и нигде, кроме как в охране Белого дома и на Арлингтонском кладбище. Не видел и военной техники. Только списанный гигант-авианосец, что стоит для обозрения на Ист-ривер, в нью-йоркском порту. Хотя в Колорадо, возможно, военные мне наконец повстречаются. Здесь, согласно справочнику, размещается Главная академия ВВС США, Агентство по аэрокосмической обороне, Центр секретной документации, Служба национальной безопасности и множество других ведомств, сотрудников которых отмечает военная форма...

Минут двадцать поезд гнал себя вдоль «специализированных» свалок. Вначале — долгое кладбище автомобилей. Пауза. Кладбище холодильников. Пауза. Кладбище кухонных раковин и ванн. Пауза. Кладбище телевизоров... Уф! Наконец выбрались к открытому пейзажу. Степь сменилась холмами, похожими на застывшие волны океана. Где-то там, вдали, холмы переходили в гряду Скалистых гор — красоту и гордость штата Колорадо. Там, говорят, и впрямь удивительные ландшафты — каньоны, горные реки, водопады, леса и снега, снега горного плато с царственной вершиной Элберт, взметнувшейся более чем на четыре тысячи метров. У самого предгорья раскинулась столица штата — Денвер, ультрасовременный город, с небоскребами, вокзалами, аэропортом, с населением в полмиллиона человек.

За обзорным стеклом открывалась широкая панорама, точно я сидел не в салоне вагона, а на гребне одного из холмов. Движение поезда утратило резвость — состав преодолел подъем. Профиль дороги изменился, стал извилистым. Наш тепловоз черным жучком появлялся то справа по ходу, то слева, волоча за собой серебристое туловище состава: семь

грузовых вагонов, за ними — пять пассажирских, и замыкали состав еще семь грузовых... Над прозрачным потолком, в небесной сини, кругами парили две крупные птицы. Ястребы? Соколы? Или орлы? Возможно, с высоты они принимают поезд за гигантскую серебристую змею...

Так незаметно подкралась станция Ла-Джуна. Одноэтажное кирпичное строение в мавританском стиле, со стрельчатой удлиненной аркадой. Самого городка что-то не видно, только вокзал с почтой, баром и автомобилями на привокзальной площади, большинство из которых своей формой напоминали огромные корыта, — старые американские «вездеходы», мощностью в двести-триста лошадиных сил. А людей не видно — только пассажиры, вышедшие поразмяться. Пока я решал для себя, последовать ли их примеру, раздался звон колокола, и зычный голос дежурного возвестил отправление... За вокзалом, на вспомогательном пути, я наконец увидел другой состав. Те же пассажирские вагоны под конвоем грузовых. Видимо, состав дождался нас, чтобы отправиться по однопутке в обратную сторону. И это в Америке, в сверхдержаве... Или так специально задумано для экзотики — эдакий туристский маршрут времен «золотой лихорадки», времен освоения Дикого Запада...

Проводить время на обзорной площадке можно по-разному. Одно дело — просто разглядывать через стекло пейзажи Колорадо, другое дело — набрать на поднос чипсов, кисленьких конфет, булочек с кремом или мороженого, поставить все это на откидной столик и, время от времени протягивая руку к подносу, окидывать благосклонным взором окрестности.

В проеме двери я заметил седенького мужичка, среднего роста, в черной кожанке и с клетчатым шарфом на шее. Широкие обшлага бесцветных брюк не дотягивались до щиколоток, предъявляя миру яркие носки, выступающие из синкерсов на баскетбольной подошве. Конечно, ничем особенным незнакомец не отличался — американцы одеваются как хотят, но я сразу дотумкал — свой человек, из России...

Мужчина приблизился к буфетной стойке. Деловито уложил на поднос горку булочек с кремом, кока-колу в пластмассовом стаканчике, порыскал глазами и направился к свободному креслу, что стояло подле моего. Уселся, уперся ногами о подставку и тотчас принялся уплетать булочки, разглядывая при этом свои вздыбленные колени...

— Приятного аппетита, — проговорил я.

Незнакомец бросил на меня удивленно-испуганный взгляд и пробормотал «спасибо». Несколько минут мы молчали, прилежно опустошая наши подносы.

— В Лос-Анджелес? Из Чикаго? — поинтересовался я приветливо.

— Нет. В Тринидад, — ответил незнакомец с охотой.

Ему тоже было приятно встретить человека, говорящего по-русски.

— В Тринидад, из Гарден-Сити, штат Канзас, — добавил незнакомец. — Думал поехать автобусом, но посоветовали поездом. — Незнакомец улыбнулся, показывая редкие желтоватые зубы...

В прозрачном воздухе Колорадо одинаково четко просматривался ближний и дальний план. Снега все наплывали и наплывали, облизывая белыми языками распадки и стволы деревьев, — поезд тащил себя в предгорье. Голубые карликовые ели, точно юные гусары, победно оседлали гребни холмов, поросших кустарником. Ломаный контур горизонта обретал все более четкие горные очертания, вершины которых сливались с небосводом.

— Да, закинула нас судьба, — произнес сосед.

Я согласно кивнул и поинтересовался, откуда он родом. Оказалось — из Ташкента. В 1991 году Виктор Федорович приехал с женой в гости к дочери, вышедшей замуж за греческого студента, но жили они не в Греции, а в Америке. Зять работает автодилером, а дочь закончила колледж и трудится в налоговой службе города Эссекса, штат Вермонт. Приехали в гости к дочери да так и застряли — в России стрельба-пальба, ГКЧП, в Узбекистане тоже весело, Афганистан бузит, а до границы всего ничего... Решили с женой не возвращаться, пусть квартиру займет младшая дочь с семейством, она давно зарилась на родительское жилье. А в этом поезде Виктор Федорович оказался следующим образом. До недавнего времени он работал в Додж-Сити, штат Канзас, на элеваторе. Стоял у транспортера с лопатой, гнал зерно. Но так вышло, что он оказался без работы. Теперь вот едет в городок Тринидад, там требуются рабочие на элеватор. Работа тяжелая, но все же работа. В час платят десять долларов. В Вермонте таких денег не заработаешь. А в Ташкенте Виктор Федорович был экономистом на заводе, читал лекции в институте...

Виктор Федорович выпрямил сутулую спину, обтянутую черной кожей. Булочки исчезали с подноса со сказочной быстротой, несмотря на то что он без умолку говорил. Ему было приятно разговаривать на родном языке — на элеваторе, где он проработал пять месяцев, не было русских. С особым удовольствием он произносил мое имя-отчество, а то все вокруг — и стар и млад — обращаются друг к другу по имени, точно урки...

— Я, Илья Петрович, прошел такую школу в этой Америке, не дай бог... От тюрьмы и до сумы, все повидал. Впору составить энциклопедию мытарств. Вы молодец, что сюда не перебираетесь. Хоть вы, судя по виду, человек еврейской национальности, но все равно тут нахлебаетесь. Ваши благотворительные организации тоже себе на уме. Америка — страна денег...

— Да и в России-то без денег несладко, — вставил я. Меня всегда раздражала манера многих эмигрантов поносить страну, которая протянула им руку, — не приезжали бы, и дело с концом. — За что же вас тюрьмой наказали? — проговорил я, пряча раздражение.

— Наказали даже дважды, — уточнил Виктор Федорович. — Скажу вам откровенно, Илья Петрович: штат Вермонт — место невиданного полицейского беспредела. Вы не поверите! Я вколачивал в стену гвоздь, жена держала стремянку. Молоток сорвался и упал ей на ногу, на мозоль. Жена заорала, словно ошпаренная. Это услышал сосед-мудак и вызвал полицию. Те явились мгновенно, точно того и ждали. Надели на меня наручники и отправили в суд. Жена кричит, что это случайность, показывает мозоль. А ей: «Мужика своего отмазываешь! Правосудие превыше всего!» И впаяли мне два месяца тюрьмы. «Нападение на зависимое от тебя лицо с целью предполагаемого изнасилования!» Как вам это нравится? Хорошо еще, что «предполагаемого». Иначе бы сидеть мне лет десять, не меньше... Дикий штат, этот Вермонт. У них в законе есть пункт, по которому не разрешается свистеть... под водой. А?!

— Ну и как там, в тюрьме? — спросил я, веселясь.

— В тюрьме-то у них нормальная жизнь, не то что на воле. Поначалу я нервничал. Наслышан был о всяких ужасах. Ничего подобного, по крайней мере со мной, не случилось... Довольно просторная камера. На десять заключенных — два туалета, опрятных, с дезодорантом. Кормят прилично, не ка-

кие-то там джанк-фуды, с помойки. Даже есть выбор... Телевизор, библиотека... Единственное неудобство: на десять заключенных — семь черных. Кричат, ругаются. Но только между собой. А когда я сказал, что люблю Опру Уитни, черную телезвезду, то двое заключенных на меня набросились с объятиями. Прибежала охрана, думали, что меня насилуют. Вообще черные — неплохие ребята, только от них здорово пахнет, никакой дезодорант не спасает. А кто мне докучал, так это один идиот из белых. Его отцу, по пьяни, на Эльбе в сорок пятом году какой-то Ваня выбил глаз. Он это вспомнил и заявил, что пришло время расквитаться, чтобы я готовился. Две ночи я не спал, боялся. Потом придумал — сказал черным, что этот тип из Ку-клукс-клана. Те его так отмутузили, что беднягу отправили в госпиталь.

Несколько минут мы молчали, разглядывая выплывшее из-за холма поселение. Навес, под которым стояли сельскохозяйственные машины. Рядом яркий маленький одномоторный самолетик... За навесом проходило шоссе, по которому катила телега-фургон, влекомая двумя конягами, а погонщика не видно, он укрылся под козырьком фургона... Горы подступали все ближе и ближе, вероятно, до них оставалось не более десяти — пятнадцати километров...

— Так вы и живете в Вермонте? — произнес я.

— Нет. С зятем не ужились. Коситься стал, ворчать, из дому уходить. Мы с женой и порешили — не будем ломать дочери жизнь, снялись и уехали в Нью-Йорк, в Бруклин, знакомых там нашли, из Ташкента... Беда в том, что дочь получила американское гражданство, и посему мы с женой не могли рассчитывать на статус беженцев, а только на статус иммигрантов. А раз так — никаких пособий, никаких страховок, сами должны зарабатывать. Это как заработать, в шестьдесят пять лет... Вначале я решил наладить торговлю с Узбекистаном, продавать овощи-фрукты. Но никто на эту затею не клюнул — самолетом дорого везти, а морем — дыни не выдержат. Жена у меня портниха-модельер. Тоже ничего не получилось — кому нужны здесь модельеры, когда все на потоке, китайцы-корейцы сидят, шьют за гроши... Начал я искать работу по объявлению. Но это сплошное жулье. Не пойму, какая им выгода — помещать в газетах ложные объявления? Однажды супер в доме, где мы жили... Вы знаете, кто такой супер? Смотритель дома. Он все умеет:

электричество починить или там водопровод, он и завхоз, словом, нужный человек. Так вот, суперу стало жаль меня. И как-то он предложил помочь ему в ремонте квартиры. Я старался. Делал все, как он указывал, запоминал. И дело пошло. Жильцы меня приметили, чуть что — вызывали на халтурку. Я стал подменять рабочих, тех, кто почему-либо не вышел на работу. Но эти сукины дети подняли шумок, дескать, зачем супер дает работу русскому, когда есть мы, члены профсоюза. Супер меня и отлучил от корыта... Снова я пошел по объявлениям, но как только узнавали мой возраст, вежливо отбортовывали, тем более с таким плохим английским... Чем я только не занимался: и кирпичи грузил, и строительный мусор — был помощником мусорщика, работал не хуже других. Но подходит главный подрядчик, спрашивает возраст и тут же прогоняет — сиди, говорит, с внуками. Я и в шоферское дело кидался. Водить машину я умел. И с автоматом приноровился у дочки, в Вермонте, а вот шоферские права — советские. Поменять можно... за триста долларов у какого-то Фимы. Решил — сдам по-честному. Пошел в таксопарк, там обучали. Заплатил деньги, аванс, немного. И вдруг на глаза попадаете объявление: «Обучаем работе с лимузином, обеспечиваем работу в лимузин-сервисе, обеспечиваем лимузинами в хорошем состоянии». Прихожу. Сидят два сопляка — Гриша и Андрей. За обучение — двести долларов, срок — неделя... Жена захохла, говорит, обманут, но решилась, выдала мне деньги. Нас, сивых учеников, набралось три человека. Больших жуликов, чем эти Гриша и Андрей, мир не видел. Три дня нам вешали лапшу на уши, что-то обещали. На четвертый приходим, а их и след простыл. По подвалу ходит какой-то негр, говорит, убирайтесь, это его офис. Кому жаловаться? Пушкину? А тут жена новость приносит — муж ее подруги арендовал помещение, хочет запустить химчистку, надо ему помочь с ремонтом. Пошел... Смотрю, посреди закутка стоит детина, метра два ростом, и соображает, как пробить дыру в потолке для коммуникаций. Отбойный молоток есть, новенький, упакован, как младенец... Говорит: приступайте к работе, за три доллара в час. Сукин сын, думаю, ведь минимальная плата четыре доллара и квотер. Но делать нечего. Смотрю я на этот молоток, как баран, но виду не подаю. «Надо вызвать из магазина консультанта, — деловито советую я хозяину. — Пусть наладит молоток. Вдруг тот бракованный, потом не докажешь». Детина

согласился, позвонил в магазин, приехал человек из магазина, все подключил на моих глазах. А я все запоминаю... Соорудил помост из стола, взобрался, включил и чуть было не свалился на пол. Грохот, куски кирпича летят в лицо. Пылища. Молоток, подлец, из рук вырывается, точно живой зверь... А в душе ликование — работаю. Каждый осколок мне чудится монеткой. Радуюсь. Так увлекся, что чуть весь потолок не своротил. Хозяин меня останавливает: отдохни, а то молоток у тебя сейчас закипит. В конце дня он выплатил мне двадцать четыре доллара — накинул еще по доллару за час. Прихожу домой, усталый, довольный — работаю. Вечером звонит дочь из Вермонта. Рассказываю. Она в крик: работа опасная; если получишь травму, кто будет оплачивать лечение?! Словом, так меня запугала, что пришлось отказаться... Вновь ищу работу. Скажу тебе, Илья Петрович, хотел войти в океан и не вернуться, только жену жаль, пропадет... С едой мы еще кое-как перебивались, питались в центрах для пожилых. Обед — восемьдесят центов, и еда неплохая. Чисто, уютно, без очередей. Можно и домой взять судок. А то есть и вообще бесплатные обеды. Но я вам скажу, Илья Петрович, унижительно до сердечной боли. И кого мы только в тех центрах не встречали, каких людей! За столом с нами обедал бывший профессор-металлург, пожилой человек, с женой. А жена его когда-то пела по радио, известная была артистка. Москвичи они. Да и другие люди, что попали в переплет в этой эмиграции. Многие хотели бы вернуться, так ведь все там потянуло. Честно говоря, я и сам подумывал воротиться, не в Узбекистан, в Россию. А как прознал, что в России русские беженцы испытывают, как их там размазывают свои же, так охота и отпла. Но надежду я не потерял. По радио, в объявлениях, сообщили — нужен человек на автозаправку. Звоню, говорят: приезжайте. Заправка у черта на рогах, прямо на хайвее, где-то в Нью-Джерси. Приехал. Босс смотрит на меня, вздыхает — стар ты, мистер. Ладно, покажи мышцы. Точно на невольничьем рынке. Делать нечего, сбрасываю куртку, сгибаю руку. Щупает. «Ладно, — говорит. — Ты не обижайся. Видишь, в углу стоят бейсбольные биты. Это будет твое оружие. Тут, на хайвее, иной раз черные руки распускают, требуют бесплатной заправки. Будешь гнать их этой битой. Платить тебе буду четыреста долларов в неделю, работа каждый день, без выходных. Согласен?» Я тут же согласился. А потом прикинул. Работа без выходных, по двенадцать

часов в день, — это восемьдесят четыре часа в неделю. Или четыре доллара в час. А одна дорога туда-обратно около пяти долларов. «Ладно, — говорит босс, — половину дороги я тебе оплачу, ты мне понравился...» Подумали мы с женой — даже на похороны не заработаю, если ночью пришьют из-за галлона бензина. Отказался... Месяц проработал в магазине «Узбекские ковры», на Брайтоне. Вот каторга так каторга. На складе ковры спрессованы до потолка. Надо вытащить тот, что запросил покупатель. Развернуть. Потом снова свернуть и уложить на место, если не подошел по вкусу ковер. К вечеру я не чувствовал рук, почище любого отбойного молотка. А получал три доллара в час. Но все равно — работа. И тоже выгнали. А... вспоминать неохота. — Виктор Федорович пошарил вслепую по подносу, но булочки уже кончились. — Словом, я продолжал поиск. Вечерами зубрил английский. Но какой там язык, когда весь день бегаешь по городу, ищешь работу... Особенно я ненавидел эти аппойтменты. Вы знаете, что такое аппойтмент? — Я кивнул: заранее оговоренное время встречи. — Так вот, — продолжал Виктор Федорович, — заполняешь анкеты. Ждешь неделями. Часами просиживаешь в приемной, несмотря на назначенное тебе время. Улыбаешься каждому сопляку-сотруднику, чтобы в итоге получить от ворот поворот... Как-то я проходил мимо триста тридцать третьего дома по Седьмой авеню. Читаю: «ХИАС». В Союзе эту организацию считали оплотом сионизма. Их и еще «Сохнут». Они помогают евреям, я это знал. А вдруг и мне помогут? Зашел, записался на аппойтмент. Жду, дождался. Пришел с женой, оба русаки, за версту видно. Сидим ждем. Кругом евреи. Поглядывают на нас, удивляются. Наконец нас приглашают за барьер. Входим. Симпатичный такой паренек-сотрудник, сидит в ермолке. Какие проблемы? Говорю — ищем работу, который год. Паренек куда-то звонит, долго лопочет, потом объявляет, что договорился с «Найяной», это Нью-Йоркская ассоциация новых американцев. Идите, мол, туда, возможно, помогут. А на прощание спрашивает: «Вы еврей?» — «Нет, — отвечаю, — не повезло». Паренек покрутил головой, вздохнул... Пришли мы в эту «Найяну». Первый вопрос — национальность. Я им говорю, что не прошу никакой помощи, в смысле материальной, помогите только с работой. Вежливо извиняются, кофе предлагают. Объясняют, что их организация помогает только евреям, имеющим статус беженцев. Вначале я вспылил, потом подумал — вот

он, чертов «пятый пункт», только наоборот. В России их жучили, а в Америке — нас, такое вот коромысло. «Вы, — говорят, — обратитесь в Толстовский фонд. Вы ж не пуэрториканцы какие-нибудь. Идите в Толстовский фонд!» И дают адрес — на Восьмой авеню. Между прочим, русских организаций, подобно Толстовскому фонду, в Америке немерено, в каждом штате. Но я об этом потом узнал. И армянские есть, и грузинские... Словом, поплелись мы на Восьмую авеню. Приняла нас красивая такая женщина. И фамилия — Русанова, Ольга. Вновь слышу — извините, помочь не можем, большой спрос, сейчас столько русских сюда наехало, опять же возраст. И специальность — экономист. Потом все же сжалилась, позвонила в Русскую православную церковь на Ист, Девяносто третья улица, может, там пристроят экономиста. Приходим. У входа сидит мужичок, свечи продает. Разговорились. Он и советует — поезжай, брат, в Колорадо, в город Додж-Сити. Там родственник его жены-американки работает на элеваторе, хорошие деньги зашибает в сезон... Вот и вся история, Илья Петрович.

— Не вся, Виктор Федорович, — лукаво произнес я. — А где ваш второй срок отсидки в тюрьме?

— А... Я тогда работал в магазине «Узбекские ковры». Хозяинский племянник, Заур, вечерами развозил ковры по адресам. Я ему помогал. Как-то мы привезли ковер на Манхэттен, в Гринич-виллидж. Я потащил ковер покупателю, а Заур остался в машине. Возвращаюсь, смотрю — на заднем сиденье лежит макровей, микроволновая печка. Откуда? Заур улыбается, говорит: нашел на гарбиче, рядом с домом. Поехали. Вдруг за нами две полицейские машины. Заур перепугался, останавливает. Нас выволакивают из машины. Полицейский заглядывает в салон, видит этот макровей, достает наручники — цоп! — втаскивает меня в свой «кадиллак». С Зауром разбирается другой коп, из другого «кадиллака». Привозят меня в участок. Народу! Ярмарка! Сидеть негде, только что на полу. Составили протокол, обвинили в воровстве. Как я понял, какой-то тип выставил свой макровей на улице, тот ему чем-то мешал. Заур его и спиндюрил. Может быть, он и впрямь не знал, думал, что выставили на гарбич. Иной раз такие вещи выбрасывают на улицу — закачаешься. Есть дома, где все набрано со свалки — от половиков до люстры... Словом, повезли меня в тюрьму. Всю дорогу копы меня материли. Такие вежливые на улице, а оказались хамами

из хамов. То ли припугнуть хотели, то ли что, но я и вправду перепугался. Привезли в тюрьму, в какое-то обшарпанное помещение. Народу — тьма, побольше, чем в участке, просто столпотворение. Негры, пуэрториканцы, корейцы, белые. С виду полные обормоты. Скамьи все заняты. И все громко разговаривают. Просто кричат, особенно женщины-полицейские, те вообще — мегеры. Новичков поставили носом к стене, ноги раздвинули, руки на затылок. Содержимое карманов выпотрошили, положили рядом на пол. Полицейские топчутся вокруг и орут в затылок — объясняют, как вести себя в тюрьме до суда. Наоравшись, нам командуют что-то вроде «вольно» и, вернув содержимое, отпускают в общее стадо. Скамья одна, там сидят самые крутые, и все почему-то черные. Важно сидят, все в наколках, как манекены из магазина «Бодибилдинг». Я нашел себе место в углу, на полу, уселся. Вошла черная баба, в сопровождении полицейского, и каждому из кастрюли раздала по бутерброду — кусок ватного хлеба, покрытого полоской сыра. И все! Да, думаю, это тебе не Вермонт. Запить нечем, только что сырой водой из-под крана, который торчит в углу, рядом с унитазом. К вечеру всех сковали общей цепью, с индивидуальным наручником. По пятнадцать человек. И посадили в автобус. Повезли в другую тюрьму. Каждое резкое движение одного прикованного отзывается на остальных, поэтому сидим смирно. Приехали. Расковали нас, сунули по бутерброду и отправили в камеру. Тесную, человек на пять, но у каждого теперь своя койка. В течение суток кого-то уводят, кого-то приводят. Дело в том, что более трех суток до суда никого не держат, иначе надо выплачивать компенсацию в сто сорок долларов за каждый день. И тюремщики за этим следят... Сидим разговариваем — кого за что упекли. Один что-то стибрил в универмаге «Мейсис» на Тридцать четвертой. Другой без жетона проскочил в сабвей. Кто-то курил «травку». Кто-то трахнул девицу, не расплатился, она его замела, как насильника. Кто-то дал в ухо белому за слово «ниггер»... Но здесь все смирные, никому не хочется в карцер за нарушение дисциплины. Если есть квотер, можно позвонить по телефону. Я позвонил жене, сказал, что поехал в другой город, доставить заказанные ковры, вернусь через три дня... У меня оставалось еще два квотера, мог бы их продать. Квотеры в тюрьме идут по доллару... Держали меня в камере два дня, на третий, с утра, повели к адвокату, крепышу с рожей любителя пива. Разгова-

риваем через переводчика, женщину в полицейской форме, по имени Аня. Она из Москвы, подрабатывает в полиции. Меня обвиняли в соучастии в краже макроев. И мне грозит два года тюрьги. Я заплакал. Ну не хотел, а заплакал. Влипнуть из-за этого мерзавца, Заура, которого я так пока и не видел, — куда его подевали, может, отвезли в другой участок... Наконец успокоился, стал объяснять, что к чему... Через час состоялся суд. Переводчица молчала, точно уснула. Сказала лишь, что все идет пока неплохо, нечего переводить. Судья стукнул по столу молотком и вызвал следующего подсудимого. Меня отвели в канцелярию, вручили повестку на следующее заседание, которое состоится через два месяца. Вручили жетон на метро, полтора доллара на автобус и отпустили на все четыре стороны. Восемь раз за эти два месяца я ездил в суд, на встречу с адвокатом. То его не было, то переводчика. Эти поездки мне обошлись только на дорогу в тридцать долларов. Хорошо, адвокат был казенный, ему платило государство. Исписали гору бумаг... А суд так и не состоялся. Почему, не знаю. Адвокат сказал, что дело закрыли. Такая вот история.

— А что с этим Зауром?

— Черт его знает. Я так и не видел мерзавца. Из магазина-то меня поперли...

Пока мой новый знакомый рассказывал свои истории, пейзаж за окном как-то густел, холмы выросли в небольшие, но внушительные горы, и поезд, извиваясь, осторожно полз мимо них, словно стараясь не задеть. Подъем оказался настолько крут, что у меня заложило уши. Виктор Федорович посмотрел на часы, поднялся и, отойдя к буфету, по-хозяйски, не оглядываясь, стал набивать карманы всякой дармовой снедью. Ну и молодец, думал я, делая вид, что увлечен созерцанием ландшафта.

Внезапно горы закончились, точно их отрезало. Показались первые строения Тринидада. Интересно, почему дали название далекой островной республики Тринидад этому зачуханному городу, угнездившемуся в горах Колорадо? Может, потому, что и там и здесь проживали индейцы? И какие индейцы!

На землях Колорадо жили племена анасази, древних индейцев-каннибалов. Археологи раскопали здесь жилища анасази, в которых сохранилось множество доказательств кровавых и жестоких пиршеств аборигенов. Может быть, и на островах Вест-Индии любили лакомиться себе подобными, не знаю.

Во всяком случае, в земле обоих Тринидадов покоятся останки воинственных индейцев и их жертв...

А Виктор Федорович шагает по платформе зачуханного вокзальчика с рюкзаком в руках. Судя по тому что он сошел с площадки соседнего вагона, ехал он в третьем, сидячем классе. А на смотровую площадку его вознесло любопытство и, думаю, желание полакомиться на халяву. И слава богу — Америка не обеднеет. Удачи ему, бедолаге, и хоть какого-нибудь заработка...

Среди пассажиров, покидающих поезд, я увидел и мессенджера Боба, несущего на плечах голубые лыжи. У Боба было заспанное лицо и стянутые в гузку губы — вероятно, он... насвистывал.

Джейн и Джек из Аризоны

Поезд летел под уклон так ретиво, словно за ним неслись духи древних индейцев анасази, желающие полакомиться машинистом.

Во время ланча за мой столик подседа чета пожилых американцев. Я заметил их еще на смотровой площадке. Они были сосредоточены и лишь изредка вскидывали свои фотоаппараты, чтобы запечатлеть нечто их заинтересовавшее в однообразном ландшафте штата Нью-Мексико, который сменил за Тринидадом унылую панораму Великих равнин Колорадо. «Любопытно, — думал я, — если это семейная пара, то почему фотографируют один и тот же объект? А если каждый из них сам по себе, то почему так схожи внешне, словно прожили вместе лет пятьдесят?» Мужчина был сед, с прической «ежик». И она седа, с ковриком коротких, но тщательно ухоженных волос. У него маленькие блеклые глаза под дряблыми веками, и у нее глаза — бусинки, чуть увеличенные косметикой. У него короткий нос, с лиловыми прожилками на кончике; у нее — вздернутый носик, «лакированный», словно только с мороза. У него крупные «слоновьи» уши со сросшимися мочками. А у нее вот наоборот — изящные уши, в мочках которых, точно снежинки, мерцали жемчужные капли... И одеты они были как-то одинаково. Словно Бог их создал под копирку. «Наверное, у них и голоса похожи, — думал я. — Жаль, что помалкивают...» Мое любопытство утолил приход официантки. У мистера оказался низкий адмиральский голос с пиратской хрипотцой, у миссис —

тонкий, почти девичий голосок. «Слава богу, хоть здесь четкая разница», — подумал я и улыбнулся. Пара тотчас ответила мне улыбкой, как бы объединившей их лица в одно лицо...

— Очень быстро едем, — заметил я. — Похоже, машинист отправился на ланч и оставил тепловоз на усмотрение дьявола.

— Не может быть, — озабоченно ответила миссис.

— Он шутит, — отрубил мистер. — Не волнуйся, Джейн.

Мне стало неловко. Впрочем, возможно, старушка подтрунивала надо мной...

— Летим, точно русская тройка, — произнес я.

— Что такое «русская тройка»? — спросила миссис.

— Ну... в России так говорят про быструю езду. Три лошади, запряженные вместе.

— А что, в России нет автомобилей? — Лицо пожилой миссис осветила улыбка удивления.

Я коротко засмеялся. Или дамочку выпустили из психушки, или, наоборот, она указывает мне мое место...

Угрюмо умолкнув, я повернулся к окну... В вагоне включили освещение — поезд влетел в туннель, не сбавляя скорости, что показалось мне довольно рискованной манерой езды; во всяком случае, перед туннелем принято снижать скорость — зона ограниченной видимости...

Туннель так же внезапно кончился, как и появился, — освещение вагона поглотил густой солнечный свет. И картина за окном стала веселее, насыщеннее красками. Горная гряда как-то боком уходила к хвосту нашего состава. Точно «пояс стыдливости», гряда отделяла аскетичную северную часть страны от легкомысленной южной...

— Джек говорит, что вы из России, — произнесла миссис, пошептавшись со своим спутником. Я кивнул. — Неужели вы из России?

Я еще раз кивнул, стараясь справиться с куском мяса, но он, как назло, плохо прожевывался.

— Да, мэм, я здесь в гостях. А живу в России, в Петербурге. Меня зовут Илья.

Немыслимо исковеркав, миссис повторила мое имя, назвав свое и своего «хазбенда».

Джек хранил суровое молчание, как подобает настоящему мужчине при не совсем понятном кокетстве супруги с незнакомцем.

— Я слышала, что в России по улицам городов бродят медведи, — заявила Джейн, подобно персонажам некогда расхожих статей наших журналистов-американистов.

Мне тогда казалось, что это их придумка, дабы показать невежество американского обывателя, — оказывается, нет. Впрочем, и наши люди хороши. Помнится, на встрече в Сосновом Бору с сотрудниками Ленинградской атомной станции солидный с виду гражданин задал вопрос: «А правда, что в Америке узаконен брак между гражданином и его автомобилем?! Я сам читал в газете, что во Флориде был зарегистрирован подобный брак». Гражданин был серьезен, он был уверен в диких правовых вольностях заокеанской страны, а главное, в массовости подобного дурачества. Что ответить? Я вздохнул и сказал: «Правда». Гражданин сел на место в ореоле всеобщего уважения к его осведомленности о жизни загадочной Америки...

Оставив жестковатый бифштекс, я придвинул розетку с фигурным сиреневым муссом, аппетитно подрагивавшем в такт движению поезда.

— Видите ли, мэм, на улице, где я живу, медведей нет, не буду хвастать. А вот на соседней они встречаются. Особенно в пабах. Сидят, пьют мед, закусывают еловыми шишками.

Старушенция распахнула маленькие гляделки, точно дитя на тюзовском спектакле «Малыш и Карлсон».

— Мистер шутит, — мрачно пробасил Джек, внезапно проявив в своем мирном облике пиратскую свирепость.

«Ну их к бесу, — подумал я. — Чего доброго, дед даст мне в ухо за насмешку над его безмозглой женушкой. Мало мне было здесь скандала в ресторане! Не хватает занять репутацию поездного бузотера».

Но громкий смех Джека прервал мои мысли — настоящий американский смех-бельканто. Даже не верилось, что тщедушный старикан может так хохотать.

— Хо-хе-ха... Паб с медведями! — громыхал Джек. — Я представляю... Вы остроумный молодой человек...

Я подхихикнул — больше оттого, что оказался «молодым человеком»; интересно, на сколько мой визави старше меня?

— Джейн, сэр, верит в любую чушь, если слышит ее от незнакомого, — продолжал Джек. — Я рассказываю ей серьезные истории — не верит, а от постороннего — верит всему. И так — все шестьдесят лет, которые мы женаты...

— Оставь, Джек, — произнесла Джейн. — Ты и сейчас говоришь ерунду... Когда ты пришел недавно и сказал, что сломалась сеялка у Тома Бредли, я поверила. А что оказалось? Она вовсе не сломалась, просто их рабочий уехал на Майями с какой-то девкой...

— Вот еще, — растерялся Джек и принялся что-то негромко бормотать, скрежеща, точно таракан в углу.

«Им обоим немногим меньше двухсот лет», — я и впрямь почувствовал себя молодым человеком.

Джейн отмахнулась от мужа сухонькой кистью, похожей на куриную лапку, и обратилась ко мне с просьбой поведать еще что-нибудь о России.

Судя по ее эрудиции, мне придется рассказывать о России примерно с времен Владимира Красное Солнышко... Я пожал плечами и обменялся взглядом с мрачным Джеком — кому приятно, если жена уличает во лжи? И видимо, дело не в сеялке Тома Бредли, тут дело поважнее, и я в это дело оказался невольно втянут... Несколько минут мы сидели молча, в ожидании кофе.

— Неужели ты полагаешь, Джейн, — не выдержал Джек, — что я ходил к этой косоглазой Анжеле?

— Ты? К Анжеле? Ха! — ответила Джейн. — Если бы ты смог одолеть хотя бы полпути до ее ранчо, тебя надо было бы лишить медикера, как симулянта. — Очи Джейн сверкали, она сейчас как будто помолодела. — Ты просто сидел с этим сукиным сыном Бредли в пабе и пил... мед, закусывая еловыми шишками. Но зачем лгать — «сломалась сеялка»?!

Джек взглянул на жену, перевел взгляд на меня, взглянул в окно и тяжело вздохнул. Достал из кармана плоскую коробочку с ментоловыми дольками «Тик-Так», выбил одну и отправил в рот, предъявив на мгновение чудесные белые зубы...

— Многие фермеры Аризоны поставляют в Россию зерно, — проговорил Джек. — Неужели в России нет своего зерна?

— Вы живете в Аризоне? — уклонился я от ответа. — Говорят, очень красивый штат.

— О да! — восторгалась Джейн. — У нас очень красивые горы. Вы видели Гранд-каньон? Нет? Вы многое потеряли... Когда Джек вернулся из военного госпиталя, мы поселились неподалеку от Гранд-каньона, тамошний воздух помог Джеку оправиться после ранения. Джек воевал во Вьетнаме. Там ему

прострелили легкое, и доктора из Хьюстона это легкое удалили, — докладывала Джейн. — Джеку сейчас восемьдесят семь, из них он тридцать пять лет живет без одного легкого. А все благодаря Гранд-каньону и Национальному парку. А в России есть свой Гранд-каньон? Нет, в России не может быть Гранд-каньона, потому как Бог все лучшее, что мог создать, отдал Америке. Но самое прекрасное Бог подарил Аризоне.

— А чем Нью-Мексико хуже? — сварливо проскрипел супруг.

— Джек, не говори ерунду, — отмахнулась Джейн. — Что можно сравнить с Аризоной?

В течение пятнадцати минут я узнал все о чете Уэбстеров. О пятерых детях, восемнадцати внуках, самому младшему из которых — Гарри — исполнилось два года. Кстати, они возвращаются из Колорадо, где отметили день рождения внука Гарри... Есть еще шестеро правнуков и, вы не поверите, мистер, — один праправнук, но Уэбстеры его не видели, он живет с семьей правнучки на Аляске... Ну разве можно пожаловаться на то, что Бог забыл семью Уэбстеров?! Недаром Джейн Ему напоминает об Уэбстерах каждый день в их маленькой баптистской церкви. Но не думайте, что мы только просим у Бога, мы Ему помогаем. Джек, к примеру, лучший механик по наладке сеялок, его знают во многих штатах. А сама Джейн долгие годы трудилась в Армии спасения. Добровольно. Весьма богоугодное дело. Она и сейчас там трудится, правда, не так активно, как раньше...

Я слушал милую болтовню вполуха. Судьба этих людей напоминала мне спокойную равнинную речку, на берегах которой не видно даже рыбаков-любителей. Или безвкусный резиновый американский хлеб, батон которого можно стиснуть в кулаке, отпустить, и он вновь примет свою форму. А что, собственно, меня не устраивало в этой истории? Что меня глухо раздражало? Что эти люди не прошли испытание революцией, очередями, блокадой, мизерной пенсией, которой едва хватает на неделю жизни, унижениями, которых даже не замечаешь? Тогда бы я принял всерьез их долгую жизнь? Как же травмировано наше представление о нормальном человеческом существовании. А ведь им тоже наверняка немало пришлось испытать, но только в своем, американском понятии ценностей жизни. Судьба того же старика Джека. Воевал, был тяжело ранен: лишиться легкого — не пустяк. Но главное — он с одним легким живет долгой нормальной жизнью...

Мой отец, Петр Александрович, был ранен в легкое на Малой Земле, под Новороссийском. Двумя осколками. Так осколки и сидели в нем — операции на легком у нас тогда не делали. Отец с ними сроднился, он и ушел из жизни вместе с осколками, шестидесяти семи лет от роду. Но как он жил?! Умный, эрудированный, интеллигентный человек, он не знал и одного дня душевного покоя. Неудачник? Невезунчик? Допустим... Но таких в моей стране куда больше, чем счастливых. Именно их жизнь моему травмированному сознанию кажется нормой, а не жизнь этой лучезарной четы из штата Аризона. И самое печальное — когда я здесь, в Америке, встречаю людей с ущербной судьбой, они мне ближе, чем эта чета Уэбстеров. Таков нерадостный итог тех извращений, которые на генетическом уровне укоренились в моем сознании. Возможно, поэтому у многих моих соотечественников не укладывается в голове тот факт, что американцы со страстью берут на воспитание российских детей. И не просто детей, а больных, инвалидов, обреченных на нелегкую жизнь. Что эти америкашки «выделяются»? С жиру бесятся? Наше сознание отучилось принимать доброту как форму существования. Ущербность, борьба непонятно за что, злость и эгоизм стали... нормой жизни целых поколений моих соотечественников. Как выбраться из этого мироощущения? Не знаю. Утешает лишь то, что народ, обживший землю, открытую Колумбом, на протяжении своей истории сталкивался с такими же проблемами и перешагнул через них. Конечно, не весь народ, далеко не весь, — какая-то часть, пусть достаточно малая, сформировала новую общность людей — американцев. Не каждый, кто живет в Новом Свете и может похвастаться американским гражданством, имеет право назвать себя американцем. Американец — это особая форма мироощущения, особый образ мысли. Меня нередко смешат потуги многих эмигрантов, вчерашних маргиналов, играть роль американцев. Особенно когда они возвращаются на родину, в Россию...

Джек расписался на счете за ланч. Пододвинул счет Джейн, протянул ручку. Джейн расписалась... Кто-то из них мог бы проставить «общую» подпись, как-никак — муж и жена. Как бы не так: плюрализм — основа американского миропонимания...

Поднявшись, они направились к двери, ведущей на смотровую площадку. Маленькие, седенькие, похожие друг на друга, как два лепестка с одного цветка. Закинув на плечи ремешки

своих фотоаппаратов, они шли, чуть отстранясь друг от друга, — в Америке не принято идти с дамой под руку. Взывшихся за руки я еще встречал, а под руку — не припомню...

Я спустился в свое купе — сказывалась привычка вздремнуть часок после обеда. А дьявол подзуживал не тратить светлое время дня на сон, подбивал вернуться к смотровой площадке — все равно с приходом темноты делать будет нечего, можно будет пораньше лечь спать. Так я и просидел в нерешительности у окна своего купе, созерцая штат Нью-Мексико, что торопился к хвосту состава.

От горизонта вновь надвигалась горная гряда, подобно серым грозовым облакам. Штат Нью-Мексико называют еще «Очарованной землей». Но все очарование, вероятно, спрятано в горах, потому как взгляд мой пока обозревал унылую февральскую степь. Пустынную, необжитую. Изредка пейзаж оживлял прибудный автомобиль. Или трейлер... Лунный пейзаж. Где-то в этих местах прячется знаменитый Лос-Аламосский ядерный исследовательский центр, в котором компания гениальных физиков завершила «Манхэттенский проект» — первую атомную бомбу. Впечатление такое, что унылый пейзаж — следствие испытания в 1945 году этого мрачного создания человеческого гения...

Представляю, как скучал в этих местах досточтимый испанский монах-францисканец Маркос де Низа, что в начале XVI века открыл для европейцев земли нынешнего штата Нью-Мексико. Тот самый монах, который попутно забрел и на земли нынешнего штата Аризона. Монах был не одинок, его сопровождал верный раб — негр Эстебан. Парочка рассчитывала найти в этих местах золото и серебро для своего ордена. Золота монах не нашел. Но, вернувшись, рассказал землякам-испанцам, что к северу от Мексики есть отличная земля — Новая Мексика; неплохо было бы прибрать ее к рукам, пока недумкали англичане или французы. Правда, там живут неразумные индейцы, но, имея ружья, с ними можно будет договориться... Так дорогой, проложенной непоседливым монахом и его рабом, в эти края хлынула волна неугомонных испанцев, понастроивших первые поселения. Испанский язык стал главным языком. Впоследствии его подмял английский язык, но не везде...

Одним из таких испанских поселений был городок Лас-Вегас, к вокзалу которого подкатывал сейчас поезд компании «Амтрак». На мгновение я растерялся — резанула нелепая мысль: неужели это и есть тот самый Лас-Вегас, дитя гениально-

го авантюриста, рискнувшего развернуть в дикой пустыне один из самых невероятных проектов столетия — центр мирового игорного бизнеса? Тот самый сказочный город дворцов-казино, обитатели которого превращают день в ночь и ночь в день. Вновь я стал жертвой американской манеры давать название городам согласно своим национальным симпатиям. Тот Лас-Вегас заброшен в пустыню штата Невада на довольно приличное расстояние от Нью-Мексико. А этот Лас-Вегас славен только убогими домиками, у каждого из которых, точно теленок подле коровы, стоит автомобиль, а то и несколько автомобилей.

Жаль, что поезд не может сорваться со своего стального поводка, взмыть в небо над штатом Нью-Мексико и показать мне истинную картину «Очарованной земли», лик которой в действительности определяет не нудная степь, а леса и горы, занимающие более восьмидесяти процентов территории. Неспроста же за этот край сражались мексиканцы, которые считали земли севернее Мексики своими. В последний раз мексиканцы предприняли попытку вернуть северные земли в 1916 году, но безуспешно. Пришлось довольствоваться лишь названием — Нью-Мексико...

Макушки четы Уэбстеров седыми венчиками помечали срез спинки кожаного дивана. Поначалу мне хотелось подсесть к ним, продолжить начатую в ресторане беседу, но я удержался... На склоне жизни человек острее воспринимает окружающий мир. И даже такой унылый ландшафт видится прекрасным и неповторимым, в сравнении с красотой земли любая беседа кажется безделицей. Нет ничего убедительнее природы. Беседа — это не только мысли, выраженные словами, можно беседовать молча, без слов. Так беседуют с природой люди на склоне жизни. Я часто ловлю себя на том, что человеческое общение меня угнетает, кажется никчемным, суетным, что побыть одному мне порой интереснее, чем в компании с любым собеседником.

Вероятно, и Уэбстеры сейчас находятся в таком же состоянии — состоянии печального созерцания. И мешать им — просто бестактно...

Я погрузился в кресло, которое, как мне казалось, еще хранило форму моего тела, и прилежно уставился в окно.

Но мысли занимало другое. Чета Уэбстеров пробудила во мне ассоциации, никак не связанные с созерцанием древней

земли индейцев племени команчей, апачей и навахо. Я думал о том, что тревожило меня последнее время. О странном кульбите, в который швырнула меня моя жизнь, пробудив вдруг то, чего недостаточно было дано в молодости. Любовь? Нет, скорее нежность и сострадание, надежную пристань, где нашла утешение судьба человека с сентиментальной душой. Как зачиналась моя семейная жизнь — в данном контексте не имеет значения. Одно определено — не было страсти. А что было? Увлечение, физиология и много-много равнодушия к своей судьбе как следствие отсутствия страсти. Возможно, по молодости и благодаря упоению своей работой — а упоение литературной работой, да еще когда видишь реально ее итог — книгу, пахнущую типографской краской, настолько пленительно, что личная жизнь отходит на второй план, особенно жизнь без страсти. Поэтому я не очень был огорчен своим разводом. Наоборот — свобода, обретенная после двадцати двух лет беспокойной жизни, полной скандалов, подозрений, взаимных упреков, показалась мне упоительной. И отъезд жены в эмиграцию был воспринят с облегчением — полученная с разводом свобода избавилась от последнего нравственного укора. Остатки переживаний за судьбу женщины, с которой прожито так много лет, развеялись от мысли, что там, куда она уехала, ее ждала родная дочь, мать, брат и куча родственников. Словом — все! Это я оставался в России один, это меня надо «жалеть». А с жалостью к себе я как-нибудь совладаю. Свобода, общение, сердечные увлечения, письменный стол делали жизнь наполненной и приятно легкомысленной. Холостая жизнь после долгой семейной — это, как мне казалось, подарок судьбы, продление молодости. И не стоило торопиться вновь загонять себя в клетку. С годами к этому привыкаешь — как в бытовом отношении, так и нравственном. Забавная сентенция — «женатый живет, как собака, а умирает, как человек, а холостой живет, как человек, а умирает, как собака» — привлекала меня исключительно вторым условием, причем финал этого условия мне казался далеким и расплывчатым. А когда он наступит — что ж, за все надо платить! В молодости вообще понятие «сегодня» более фундаментально, чем понятие «завтра». Отсюда многие беды и разочарования...

Бывшая жена там, в эмиграции, чувствовала себя вполне комфортно. Встреча с дочерью, с близкими, которые, как казалось, в те далекие семидесятые годы ушли из ее жизни

навсегда, придала существованию новый смысл. Одна неоспоримая истина овладела ею — жизнь дана в радость. А если жизнь складывается в полном соответствии с представлением о ней — радость двойная. Конечно, были и трудности. Порой — удручающие трудности. Но они как-то обрамлялись перспективой, гарантией которой были черты ее характера — оптимизм и трудолюбие. А также участие близких, особенно дочери... Жизнь в Нью-Йорке подпитывает человека, душа которого открыта этому волшебному городу-Миру. А ее душа была открыта... Театры, музеи, выставки, туристические поездки в разные страны, подруги, объединенные эмигрантским братством, такие же непоседы, как и она сама, — все это составляло ауру ее существования. При этом, в условиях страны, в которой она теперь жила, вовсе не надо было быть богатым человеком, чтобы чувствовать себя комфортно, достаточно той работы, что предоставила ей судьба, — много лет она работала бухгалтером на фабрике, затем устроилась «бегиситером» — воспитателем двух девочек в состоятельной американской семье. Девочки в ней души не чаяли. Ей, не имеющей собственных внуков, два прелестных малыша даровали полноту жизни, которая приходит к женщине за пятым десятком...

И вдруг — удар. Неожиданный и жестокий. Она заболевает. Серьезно и без особых шансов на выздоровление — коварная болезнь. Первый «звонок» прозвенел в Испании, в туристической поездке, — чуть вязнущая речь, замедленная реакция, скованные движения руки. Дальше — больше. Впервые эту болезнь описал в 1817 году английский врач Джон Паркинсон. Но ни он, ни его современные коллеги не выяснили причин этого заболевания. А пока продержаться помогают новые медикаменты и сила воли. Та сила воли и тот максимализм, желание получить как можно больше жизненных впечатлений, которые в супружеской жизни оборачивались тягостью для меня, сейчас, в ситуации болезни, оказались спасательными для нее...

Зачем она тогда приехала в аэропорт имени Кеннеди встречать меня? Совершить двухчасовую поездку из дома до аэропорта в ее состоянии... Хотела показать мне: вот какая я стала! Видишь? Это я, женщина, которая была тебе женой более двух десятков лет. Когда-то красивая, веселая, душа компании... И не вороти малодушно лицо к окну автомобиля, взгляни на меня. Можешь сразу улететь обратно, в Петербург,

я постараюсь не слишком переживать... К тому же мы давно в разводе, у каждого из нас теперь своя жизнь, нас связывает только дочь. Можешь не мешкая отправиться к ней, в Калифорнию, погостить, а потом с чистой совестью вернуться в Петербург, к делам, письменному столу, своим женщинам, читателям... А я вот такая...

Я сидел подавленный. Панорама Манхэттена, тянувшегося ввысь от глади Ист-ривер, особенно величественная со стороны Бруклина, не вызывала у меня прежнего восторга, наоборот — каменная громада казалась мне многоглазым роковым чудовищем. Родственник моей бывшей жены вел автомобиль с завидной уверенностью, не свойственной для недавнего эмигранта. Он слегка наклонился ко мне. «Вот как все обернулось, — негромко проговорил он. — Конечно, мы помогаем чем можем. Ян оформил ей медикейт по болезни, без медицинской страховки вообще хана в Америке, без медикейта жить здесь нельзя. Помимо лечебной помощи за ней закреплена женщина, приходит на пять часов в день — убирает, готовит обед».

Я был благодарен Яну — мужу тетки жены, врачу... Медикейт — медицинская страховка, которая обеспечивает бесплатное лечение и лекарства. Как и всякая страховка, она зависит от трудового стажа. А стаж у Лены был — семь лет работала бухгалтером...

Боковым зрением я окинул заднее сиденье. Убаюкивающая дрема разгладила черты ее лица, и сквозь маску болезни проступил прежний красивый рисунок, умиротворенный и спокойный. Жалость и нежность томили мое сердце. И готовность принести жертву — в чем она может быть выражена, я не знал: в чем угодно, лишь бы облегчить ее страдания. Ощущение вины угнетало меня, хотя вины моей здесь не было...

Память пробуждала все хорошее из прошлой жизни. А к чему мы с ней подошли? К одиночеству. И она, и я. Каждый шел к одиночеству своим путем. Поначалу путь казался упительным, он не виделся путем к одиночеству, он был просто дорогой по жизни относительно молодых, здоровых физически и любознательных людей. А с годами оказалось, что это дорога к одиночеству. Так бывает, когда прошлое сжимается до размеров мимолетного воспоминания, а настоящее вырастает в гигантскую проблему, застилающую горизонт. И никуда от нее не уйти. Многие решают эту проблему в течение всей

жизни — женятся и выходят замуж по несколько раз. А кто-то, как я и она, не берут проблему в голову, уповая на судьбу. Судьба — это безмерный мешок, куда походя складывают все жизненные удачи и неудачи, в надежде, что мешок этот, наподобие поплавка, поможет удержаться на поверхности жизни. Заблуждение! Надо тщательно следить за содержимым мешка, иначе поплавков станет тяжелее воды. К сожалению, только с годами приобретаешь опыт придирчивого контролера, а молодости свойственно легкомыслие и торопливость...

Негромкий голос сидящего за рулем родственника только усугублял впечатление от встречи. Родственник поведал, что у нее — одно к одному — возникли проблемы со зрением, врачи настаивают на операции. И с квартирой проблемы — площадь, которую она занимает, по мнению супервайзера дома, слишком велика для одного человека. В квартире должен быть «прописан» еще кто-нибудь, а она так привыкла к этой квартире, что переезд будет для нее сильным ударом...

Автомобиль наш двигался неровно — то он полз в трафике, чуть ли не бампер к бамперу, то срывался едва не в полет, догоняя другие машины, то вновь едва тащился.

Наконец мы переехали Бруклинский мост и оказались в даун-тауне, в районе Гринич-виллиджа... Взгляд мой безучастно перебирал уютные строения «виллиджа», многие из которых прятали в себе галереи художников, антикварные лавки, милые бутики, кафе, игровые зальчики...

— Недавно я была здесь, — раздался голос с заднего сиденья. — В театре. Смотрела «Стулья» Ионеско.

Я обернулся. Она тоже разглядывала «виллидж». Глаза оживились, лицо порозовело. Она проезжала мимо своего живительного источника. Искусство — то последнее, что она отдаст болезни.

Жалость, нежность, желание помочь ей справиться с настроением, в которое ее вовлекала болезнь, было подобно сильному течению, что влечет щепку к стремнину. Интуитивно она понимала, что я испытываю трепетное чувство к прошлому, связывавшему нас обоих, несмотря на шипы, проколовшие наши отношения. Я же уверовал в то, что, если она перестанет чувствовать себя одинокой, если появится человек, которому она будет нужна, такой, какая есть... вот сила, которая станет лучшим лекарством.

Бракосочетание состоялось в мэрии Джерси-Сити, 16 января 1998 года. Сколько раз я проходил мимо этого здания, не думая, что придется в него когда-нибудь войти... Черный клерк в черном костюме и в черной сорочке стоял на каком-то возвышении. А белый галстук, резко выделявшийся на черном фоне, казался продолжением его белых крупных зубов, схваченных розовыми деснами.

Мы и наши свидетели — родная тетка Лены и ее муж Ян — сидели притихшие и молча наблюдали за суতোлкой в зале. Среди тех, кто сегодня сочетался браком, мы были самыми «взрослыми».

Нас вызвали. Клерк деликатно отводил свои выпуклые глаза — скованные движения невесты его смущали. К тому же он впервые сочетал браком людей, носящих одну и ту же фамилию. А когда узнал, что мы были женаты, прожили порознь восемнадцать лет и вновь решили соединиться узами, клерк отложил бумаги и заплодировал. И все в зале последовали его примеру.

Лена улыбалась, в глазах ее стояли слезы. Да и я растрогался.

С тех пор прошло более двух лет. Мы так и живем: она у себя, в Нью-Джерси, я у себя, в Петербурге. Когда я слышу ее голос в телефонной трубке, начинаю высчитывать, сколько дней осталось до встречи... Не каждый может взять в толк, почему мы так поступили, если внешне ничего не изменилось. Внешне — да... Но одиночество — понятие не только физическое, но и духовное. И, честно говоря, я не знаю, какое из них преобладает...

Breakfast зимой в пять утра

Старики Уэбстеры шли по перрону вокзала Флэкстаф, штат Аризона, к автобусной остановке, размещенной под крытым навесом. Отсюда автобусы направлялись в сторону Гранд-каньона — небольшие, маневренные, приспособленные для извилистых дорог, с широкими витринными окнами и раздвижными лесенками. При необходимости лесенки услужливо опускали ступеньки к земле для удобства пассажиров-инвалидов.

Чете Уэбстеров такие удобства ни к чему — эта супружеская пара послужит еще Богу не один год. Вот с какой прытью Джек катит за собой огромный чемодан на колесиках, да и Джейн не отстает, ее чемодан хоть и поменьше, но тоже поскрипывает от тяжести на неровностях брусчатки...

За автобусами раскинулся небольшой базаришко... Два три фургона-магазина предлагали свой товар: фрукты, молочные продукты, кондитерские изделия. Поодаль от фургонов раскинул лоток индеец — высокий громоздкий мужчина. Красновато-бурое широкоскулое лицо его обрамляли длинные прямые черные волосы, падавшие на плечи из-под расшитой бархатной шапчонки, гребень которой украшал тканый цветной хохолок. Низкий плоский лоб как бы накрывал узкие глаза. Тугой подбородок порос редкой растительностью, с заявкой на очевидно задуманную бородку. Шею охватывали цветные шнуры из-под ворота джинсовой рубашки. Кожаные штаны держались на узорном ремне. Простроченные пушистой бордовой бахромой штанины были заправлены в сапоги на высоких каблуках. Голенища сапог простреливал замысловатый набор серебристых кнопок. На широкие плечи торговец накинул пятнистый малахай с аппликацией из разноцветных кожаных лоскутов...

В косых холодных лучах предвечернего солнца содержимое лотка представлялось сокровищем Аладдина. Лики ритуальных идолов из черного агата, змейки из зеленой яшмы, бирюзовые, изумрудные, сердоликовые бусы, браслеты — кофейные, с белыми крапинками в серебряном обрамлении, шариковые ручки с птичьими перьями на конце, карликовые кактусы — символ штата Аризона... Множество безделушек из меди, золота и серебра...

С высоты своего роста индеец смотрел на меня с ожиданием и любопытством. Так, вероятно, встречали его далекие предки белолицых гринго, пришедших на эти земли. Английского он не знал и цену своим поделкам назначал на испанском. А для непонятливых объяснял с помощью пальцев... Я присмотрел для дочери браслет — серебряный, с чернением, в виде свернутой змейки с зелеными капельками глаз. Со стороны торг выглядел довольно забавно: я отходил, возвращался, примерял браслет на свою руку, поглаживал, чуть ли не пробовал на язык. Торговец выбрасывал навстречу мне растопыренные

пальцы, с каждым разом меняя цену. Делал он это с явным удовольствием...

Удар вокзального гонга поставил точку в нашем торге. Я протянул индейцу десять долларов, он мне сдачу — два доллара. Что было духу я бросился бежать к своему вагону. В купе я рассмотрел браслетик в полной уверенности, что дочери он не понравится, — дочь частенько отвергает наши с женой подарки. Змейка подняла узкую скуластую головку, похожую на лицо певца Александра Вертинского... «Аризона» на языке племени апачей означает «приносящее серебро». Если браслет дочери и впрямь не понравится, буду его держать в банке с водой — известно, что серебро убивает болезнетворные бактерии, и пить такую воду полезно. Решив проблему, я вновь обратил взор к окну...

А за окном на смену Аризоне пришла Калифорния — страна вечной весны и лета, страна, название которой слетает с языка так же легко и звеняще, как и само слово «Америка».

Из коридора раздались голоса — в соседнем купе появились пассажиры. Ребенок говорил, что сникерсы ему велики, но они такие красивые, что он все равно будет их носить и не отдаст Дику, у которого целый шкаф таких сникерсов. Взрослый женский голос убеждал, что неудобно носить обувь не по размеру, что это вредно, — надо поменять сникерсы. В ответ детский голос завопил неожиданно громко. А женский так же ровно и педантично вдалбливал упряму, что носить спадающую с ног обувь глупо... На какое-то время стало тихо. Потом ребенок объявил, что это — судьба. И он примет ее как есть. На что женский голос незамедлительно откликнулся, что это не судьба, а глупость, но если ему нравится, пусть делает что хочет...

Слово «судьба» вызвало в моей памяти случай, о котором я однажды прочел в какой-то американской газете. Вновь меня стал донимать смех, хотя ничего смешного в той истории не было... Произошло это удивительное «шоу» в Гринборо, штат Северная Каролина. Парень по имени Рональд Опус решил покончить с собой. В записке, которую он оставил, Рональд жаловался на нежелание родителей поправить его финансовые дела. Рональд распахнул окно и сиганул вниз с девятого этажа. Однако в тот день мойщики стекол натянули страховочную сеть на седьмом этаже — и бедняга прямехонько угодил в ее

мягкие объятия. И все же парню не повезло. Когда Рональд летел мимо восьмого этажа, в голову ему угодил заряд дроби, выпущенный из окна, так что в страховочную сеть Рональд свалился уже бездыханным трупом, с разнесенным черепом. Пока полиция доставала Рональда из сети, детективы предъявили жильцу восьмого этажа обвинение в убийстве. Перепуганный жилец-старик, оправдываясь, заявил, что он метил в свою жену, но не попал, и заряд угодил в открытую форточку. Детективы учли его показания и уточнили обвинение: к непреднамеренному убийству добавилось покушение на убийство жены. Тем временем старичок, приняв успокоительное и закулив любимую сигару, решил объяснить с детективами. Он не собирался убивать свою жену, а тем более человека, пролетавшего мимо его окна. Просто во время ссор со своей женой он всегда хватал со стены незаряженный дробовик и пугал жену щелчком курка. Таков их семейный ритуал. Это подтвердила и жена — дробовик годами висел на стене незаряженный... Детективы задумались. Кто же зарядил дробовик, который выстрелил в столь неподходящую секунду? Логично решили, что ружье мог зарядить человек, вхожий в эту квартиру. Это мог быть единственный сын стариков. Один из понятых — товарищ сына — заявил, что сын давно поговаривал о том, что собирается наказать скупердяя отца за отказ в денежной помощи. Зная, что отец при скандалах взял себе в привычку пугать супругу дробовиком, он тайно зарядил оружие в надежде, что папаша пристрелит мамашу, попадет за решетку, и наследство достанется ему... Однако последние две-три недели супруги жили на удивление мирно, о чем сын в отчаянии поведал своему приятелю... «Где же этот подонок?!» — вскричали детективы. «Как — где? — удивился старичок и пояснил: — Он живет выше, на девятом этаже».

Да, тем самым сыном оказался невезунчик Рональд, пристреленный собственным папашей из дробовика, который сам же и зарядил... Эта история зафиксирована американской Академией судебных наук. Вот что такое судьба! При воспоминании об этой грустной истории меня душит смех. И ничего не могу с собой поделать...

Мне захотелось взглянуть на мальчика, для которого великоватые сникерсы — знак судьбы. Да и пора идти в вагон-ресторан, наступило время пятнадцатого чая.

Дверь-гармошка соседнего купе оставила довольно широкую щель для любопытствующего глаза. Чем я и воспользовался. Мальчик лет десяти, круглоголовый, белобрысый, притулился в углу дивана и следил глазенками за экраном электронного мультипликатора. Рядом, боком к двери, с книгой в руках, пристроилась женщина. Я изумился. Подобное сходство трудно представить — ну точно Женечка Гуткина! Я невольно придвинулся к щели с уверенностью, что где-то в купе притаился и ее муж — мой дружок Геня Гуткин. Но нет...

Это ж надо, такое сходство. А кто они такие, эти Гуткины? Отвечаю — одни из самых близких мне людей. Эмигранты, бывшие ленинградцы и бывшие... вернее, родители бывшего моего зятя. В своем изложении я стараюсь избежать «литературной коррупции», личных пристрастий — жена и дочь не в счет. Но что поделывать: судьба Гуткиных — тоже эмигрантская судьба, судьба людей, заброшенных на чужбину. Стало быть, она тоже имеет право на внимание автора этой книги... Но мне хочется рассказать о другом. О душевной их щедрости, о великодушии? Да, все это так, но хочется писать о другом, о другом, о другом. О том, как даже самые враждебные обстоятельства не могут внести разлад в отношения между людьми, испытывающими взаимную симпатию...

Началось все «с мелочи» — со скоропалительной женьитьбы наших детей. Накануне моей туристической поездки за рубеж, в 1978 году, я и понятия не имел о планах дочери, как, впрочем, и она сама. Она еще не знала никакого Сашу... Однако после двухнедельного отсутствия я позвонил домой из Москвы, предупредить о своем возвращении, и узнал, что дочь выходит замуж за некоего Сашу, который появился на горизонте нашей семьи стремительно, как метеор, за несколько дней до моего телефонного звонка. И не один, а с гитарой. Черноволосый, с усами, студент последнего курса института. «Он похож на тебя в молодости, — сказала дочь в телефонную трубку, — поэтому я и решила выйти замуж». Преисполненный благодарности, чувствуя слабость в ногах, я повесил трубку.

Кроме гитары, Саша ввел в нашу жизнь своего младшего брата — опять же с гитарой — и родителей: Женю и Геню, нормальных советских инженеров. С тех пор прошло более двадцати лет... Молодые давно уже не молодые, к тому же у каждого из них теперь другая семья. Младший брат под-

рос, стал мужчиной, программистом, с весьма высокой, даже по американским меркам, зарплатой. И родители постарели на двадцать с лишним лет... Сохранилась только наша дружба, несмотря на то что основа этой дружбы — брак наших детей — давно распалась. Предвижу недоумение читателя — стоит ли писать об этом, о деталях личной жизни автора. Думаю, что стоит. Именно благодаря тому, что в наших отношениях нет драматических поворотов, характерных для ситуации распада семьи детей. Сохранение добрых отношений между родителями — своего рода нравственный пример...

На площадке, где царствовал буфет с набором дармовых яств, орудовал пожилой негр в белом кухонном одеянии. Он переключал из тележки на полки буфета банки кока-колы и чипсы в голубых пакетах. Докомплектовывал... Заметив меня, негр проговорил, улыбаясь всем своим широким лицом: «Возьмите пакетик, сэр, это очень вкусные чипсы. Их разберут мгновенно», — и, не дожидаясь согласия, с баскетбольной сноровкой закинул в оттопыренный карман моей куртки голубой пакетик...

Салон ресторана пустовал. Официанты сидели спиной к двери на высоких табуретах, точно эскимо на палочках. Моя полька обернулась красивым профилем и помахала рукой. От былой нашей размолвки не осталось и следа. Официантка старалась разговаривать со мной на языке, похожем на русский. И я ей подыгрывал. Обычно разговор вертелся вокруг одной темы. Если бы она знала, что Польша вырвется из «советского плена», то она ни за что бы не приехала в Америку. В Польше все лучше — и вода, и воздух, и продукты... Разве в Америке овощи? Сплошная химия. И мясо, и куры — все химия. «Пани! — взмолился я. — Вы хотите, чтобы я здесь голудовал? А харбатэ? Тоже химия? Нет? Тогда принесите мне харбатэ з цукрином». И она, довольная, несла мне чай с лимоном...

Так мы невинно кокетничали. А глядя на ее обтянутый блестящим люстрином обворожительный зад, я ощущал в себе токи давно минувшей молодости. Официантка принесла мне чай, дольку лимона, булочку с маком, розетку с вишневым вареньем... Поставив все это на стол, официантка достала из кармашка листок и положила подле тарелки. «В связи с ранним прибытием в Лос-Анджелес просьба к пассажирам I класса явиться на завтрак в 5 утра»... Я в недоумении поднял брови. По расписанию поезд прибывал в Лос-Анджелес в девять утра...

— Да, пан. Постарайтесь не опаздывать.

— Так рано?! — проговорил я и умолк, стесняясь, что вновь предстану бузотером перед этим «обольстительным задом».

Официантка объяснила, что в Лос-Анджелесе они сдают смену. Для этого необходимо составить отчет, пересчитать посуду, инвентарь и все прочее. Все это требует времени.

— Не упрямитесь, приходите в пять утра. Иначе останетесь без завтрака.

— Кто же придет к вам в такую рань, если можно спать еще целых четыре часа, — проскрипел я склочно, но без энтузиазма. — В пять утра. Самый сон!

— Все придут! — ответила официантка.

И все пришли. Даже мальчик, чья судьба зависела от великоватых по размеру сникерсов. Вместе с мамой, похожей на Женечку Гуткину. Они-то меня и разбудили своей громкой возней, перекрывшей рокот колес. Включив ночник, я взглянул на часы — без пятнадцати пять. «Неужели ты променяешь сладкий предутренний сон на дурацкий брекфаст? — спросил я себя. — На ломоть бекона с яйцом, булочку, кубик джема, кубик масла, кубик сыра? Не будь дураком, спи. Предстоит длинный, безалаберный первый день приезда в Лос-Анджелес, в дом хоть и близких людей, но все же не свой, где бы ты смог сразу завалиться в постель, досыпать. Спи!»

Шум в коридоре утих — мальчика увели завтракать.

Я прикрыл глаза, отдаваясь колыбельной качке поезда. Но любопытство подзуживало — неужели кто-нибудь еще, кроме моих соседей, примет просьбу явиться в ресторан в такую рань, как приказ? Ведь это Америка, а не Германия...

Переступив порог ресторана, я обомлел. Все места были заняты...

— Что, пан? — язвительно проговорила официантка, представляя содержимое подноса на стол. — Вы просто не знаете американцев — все, за что заплачено, должно быть получено.

Виновато пожав плечами, я приступил к завтраку.

Темень вымазала окна вагона густым черным гуталином, в стекле зеркально отражался весь пенал салона. Изредка тьму простреливал случайный огонек — то ли фары заблудившегося автомобиля, то ли просто светлячок. Приглядевшись, можно было распознать какие-то комья, обведенные четкой контурной линией. Местами комья подкатывали к самому сте-

клу. Должно быть, поезд шел по дну ущелья, едва не касаясь боками горных пород. Догадка с рассветом подтвердилась — протянув руку, я бы смог коснуться причудливых скалистых глыб... Но пока я видел лишь чрево вагона-ресторана.

Постепенно столы пустели. Убедившись, что их не надули, что брекфаст предьявлен по полной программе, пассажиры вернулись в свои купе, оставив завтрак почти нетронутым...

Причудливы пути в историю. Порой одна лишь шаловливая литературная фантазия прославит имя автора в веках. Знал ли средневековый поэт де Монтальво, когда сочинял на заказ серенады, что придуманный им волшебный остров влюбленных под названием Калифорния удержит имя поэта на плаву истории? А его соотечественники-испанцы нарекут этим солнечным именем землю, что щедро раскинулась на юго-западном тихоокеанском побережье Северной Америки? Часть этой волшебной страны занимают горные отроги Кордильер. Прорастая на западе Береговым хребтом, а на востоке вершинами Сьерра-Невады, горные отроги, смыкаясь, образуют Большую Калифорнийскую долину. Здесь сочетаются средиземноморской климат побережья с жарким и сухим климатом континентальной части. Гигантские лесные массивы оберегаются государством как национальные парки, в которых множество деревьев помечены специальными охранными грамотами. Есть среди них и самое высокое дерево Земли — секвойя, носящая имя участника Гражданской войны генерала Шермана; его высота достигает ста десяти метров. Континентальная часть Калифорнии знаменита гигантскими каньонами. В провале одного из них разместилось самое жаркое место Западного полушария — жара там достигает пятидесяти семи градусов по Цельсию, — названное «Долиной смерти» после того, как там погибла группа золотоискателей...

Невозможно без любопытства перелистывать справочники, где отражена удивительная история этого уголка Америки. Индейские племена, обитающие в основном на побережье, жили нескудно — охотились, рыбачили, пледили детей... Но особое веселье началось после того, как испанец Кабрильо в 1542 году привел свой фрегат в бухту, возле которой сейчас раскинулся город Сан-Диего. А возможно, настоящее веселье началось в 1579 году, когда севернее земель, захваченных испанцами, бросил якорь королевский пират сэра Фрэнсис Дрейк. Пожалуй, да — тогда и началось веселье по поводу соровнования: кто больше отхватит земли у индейцев. Особенно подсустились

монахи-францисканцы — католические миссии росли, как грибы. По всей Калифорнии запылали «костры просвещения» для неразумных краснокожих, угольки которых собирали для своих книг Фенимор Купер, Майн-Рид, Стивенсон... Книг, которые мальчишки, скрывая, выносили из читального зала библиотеки имени Маяковского в городе моего детства Баку, — на абонементе этих книг не было...

Пришло время, и Калифорния подкинула американским писателям другие сюжеты. Одна «золотая лихорадка» чего стоила! Весть о находке Джона Маршалла в долине реки Сакраменто в январе 1848 года мигом разнеслась по Америке. Тысячи искателей счастья хлынули в Калифорнию и разбрелись по всей ее территории. Крытая повозка, запряженная лошадьми, стала приметой Эльдorado тех лет, а золотоносный песок — пределом вождения. Знаменательно, что Джек Лондон родился именно в Калифорнии, как и Брет Гарт, как поэт Роберт Фрост, как Джон Стейнбек, чей роман «Гроздь гнева» повествует о семье из Оклахомы, которая отправилась на поиски удачи в Эльдorado, в страну золота.

Калифорния, в те времена отделенная от Соединенных Штатов странствами Дикого Запада, существовала сама по себе до 1850 года, да и потом, став законным тридцать первым штатом, она долгое время оставалась «далеким родственником», пока шло приручение западных земель. Но это сыграло и положительную роль. Необходимость поддерживать связь с восточными штатами дала толчок к развитию судостроения, к организации железнодорожного сообщения — Сухопутной почтовой компании и «Пони-экспресс»...

Тем временем в сиреновой дымке рассвета проявляются вокзальные строения первого калифорнийского городка под названием Нидлес, что означает «Бесполезный». Интересное название. Вероятно, на пути золотоискателей задержка в этих местах оказывалась совершенно бесполезной. А я бы задержался. Хотя бы ради двух пальм, что росли у входа на вокзал. Первые калифорнийские красавицы, увиденные мной. Стройные, с высокой лохматой кроной и тонким станом, перехваченным пушистым корсетом. Непонятно, почему символом Калифорнии является золотистый мак, а не пальма...

Тепловоз сворачивает направо. Кажется — тепловоз беспоякойно оглядывается: тут ли его серебристый хвост, не затерялся ли ночью в каком-нибудь ущелье? И, успокоившись, вновь исчезает с моих глаз на прямой стальной тропе.

Стекло обзорной площадки хрустально чистое, словно его и вовсе нет, а накануне, вечером, стекла казались совсем замызганными. Должно быть, помыли за ночь. Или обдули сжа-

тым воздухом. Далекие снежные вершины Кордильер горят пурпурным костром восхода. Потом опять поросшие леском холмы. В их темной бутылочной зелени пробиваются одинокие дома-замки. Более роскошные с виду, чем те, которые ранее были видны из окна вагона. Меня-то не обманешь, я-то знаю: и роскошные, и более скромные — все они только современные американские дома. Легкие, словно щитовые дачи.

Американский дом — продукт ширпотреба, некая конструкция из множества реек, дощечек, скобок, филенок, стекла, гвоздиков, поролона и клея. Все они собраны на скорую руку, но с изяществом. Точно кукольный домик. Удобный внутри, разноэтажный, со множеством комнат, туалетов, кладовок. Вместе с тем это легкомысленное сооружение отличается достаточной прочностью и способностью сохранить тепло, которое подается от каких-то игрушечных обогревателей. Калориферы упрятаны в бейсмонд-подвальчики, рядом со стиральной машиной. Тут же нередко и гараж на один-два автомобиля с автоматическими воротами... Благодаря этой легкости, американцы беззаботно расстаются с домом и покупают другой, точно меняют игрушку. Переезд из дома в дом не доставляет особого беспокойства — оплатил, пришли люди, все упаковали, погрузили и перевезли на новое место. А можно и сам дом перевезти — разобрать и собрать на новом месте. Главное — определиться с работой, работа — это все, дом — дело второе. Дом для американца не основа существования, как в Европе, дом для него — вроде хобби. Особенно для молодых людей. Дом выбирают, обсуждают, сравнивают. Увлеченно, но не серьезно...

На ровной зеленой лужайке, точно яркий гриб, показался еще один дом под красной крышей, в романском стиле, с колоннадой. Он тоже, вероятно, сооружен из фанеры, реек и клея. Рядом голубел овальный бассейн с легкими шезлонгами на борту. Правила владения американцами своим домом для безалаберного домовладельца Европы весьма забавны и не совсем ясны. Хозяин соседнего дома может тебе весьма испортить жизнь. Скажем, если дым твоего барбекю или запах шашлыка дотягиваются до носа соседа, могут возникнуть серьезные неприятности с полицией. Один мой приятель по наивности срубил дерево на своем участке — так он проклял минуту, когда впервые поплелся на улицу Желябова, в ОВИР, оформлять документы на выезд. Бдительные соседи словно

только и ждали звука электропилы. Что более всего сокрушило моего робкого дружка, так это то, что полиция, надев на него наручники и доставив в участок, только там его уведомила о штрафе за сруб дерева на его же собственной делянке.

Вообще догляд за соседским домом превратился в нечто вроде спорта. Может быть, поэтому американский дом отличается особая изощренная аккуратность в отношении не только флоры, но и фауны. Попробуй прогнать палкой косулю или оленя, которые забрели на твой участок из леса где-нибудь в предгорье Аппалачей, я уж не говорю о «пристрелить» — пусть это будет лиса, волк или белка... О белки! Эти кроткие существа, пышные, словно муфточки для сугрева нежных девичьих рук... Более наглых тварей невозможно представить. С каким самомнением, с каким высокомерием они шляются по частным владениям. Американские белки, скунсы, барсуки и прочие божьи твари ни в грош не ставят человека, словно ознакомились со всеми статьями кодекса, где четко прописана кара за их притеснение. Однажды ночью автомобиль, в котором я ехал с приятелем по улице Филадельфии, резко затормозил: в свете фар чинно пересекал улицу выводок енотов. Семейство никуда не торопилось. И даже, по-моему, было весьма радо нашему автомобилю: по крайней мере, осветили им дорогу... «Не дай бог мне придавить этих дармоедов, — сокрушался приятель. — Засудят. При чем тут ночь? Завтра же все городские газеты поднимут вой на первой полосе. Будут требовать, чтобы полиция нашла и распяла негодяя. И найдут, поверь мне... Когда я читаю о таких историях, мне кажется, что президентом страны является какой-нибудь енот или скунс».

За окном вагона ландшафт продолжал настойчиво убеждать меня, что я в Калифорнии, причем довольно своеобразно — панорамой завода. Трубы, газгольдеры, сложные конструкции, напоминающие крекинг-установки для очистки нефти, но снаружи, извне... санаторий и только: белые стены ограды, красная и синяя кровля заводских корпусов. В зелени деревьев проглядывали пятна каких-то непонятных механизмов...

Поезд въехал в туман, чья белесая глыба спрятала от меня Калифорнию. Досада. Попасть в эти места, чтобы пялиться в молочное стекло. Неужели туман никогда не кончится? Но кончился. Так же внезапно, как и возник... Взору предстала

поляна и строение на краю поляны, у леса. Вдоль аллеи, ведущей к строению, светлели какие-то скульптуры. Казалось, они гонятся за этим строением, а само строение, по мере приближения поезда, превращалось в дом — двухэтажный, со скошенной крышей и небольшими окнами. Сумрачный, темный, он словно замер в нерешительности перед лесом. Дом отличался от современных американских домов особой основательностью. Он напомнил мне другой дом. Тот стоял далеко от этих мест, в деревушке Клаверак, вблизи городка Хадсона, штат Нью-Джерси. Сумрачный, вросший в землю серыми тяжелыми стенами, дом-замок словно исподлобья вглядывался в просторную панораму парка, напоминая декорацию хичкоковского фильма...

Сон маленького мальчика

...Мальчик жил в интернате германского городка Хемница, размещенном в бывшем здании гестапо. Шел 1955 год, мальчику было двенадцать, он любил рисовать, лепить и читать. В библиотеке интерната ему попала на глаза новелла Вашингтона Ирвинга. Герой новеллы Рип Ван Вингли, весельчак и балагур, перебрал лишнюю пинту эля и, прикорнув на часок, проспал двадцать пять лет. Описание его снов произвело на мальчика такое впечатление, что, вернувшись с родителями в Ленинград, мальчик однажды нарисовал на обоях лес, где жили гномы, синее небо и фантастические горные вершины. Вероятно, те обои с рисунком мальчика давным-давно сорвали новые жильцы ленинградской коммунальной квартиры, наклеив другие обои. А напрасно. Новые жильцы той коммуналки могли бы сильно обогатиться: рисунки на обоях были сделаны детской рукой ярчайшего художника современности Михаила Шемякина.

А при чем здесь дом в Клавераке, что близ городка Хадсона, штат Нью-Джерси?

Михаил Шемякин, перебравшись из Франции в Америку, подыскивал место для летней мастерской. Он перебрал несколько вариантов — все не то. Однажды, на закате дня, переезжая мост у деревушки Клаверак, Шемякин вдруг узрел тот самый сказочный пейзаж, нарисованный им в детстве на обоях

ленинградской коммунальной квартиры. Удивительное сходство — какая-то мистика. Казалось, с гор, полыхающих закатным солнцем, сейчас спустятся маленькие лесные колдуны... Дом-замок, что стоял на краю болота, куда жители Хадсона годами сваливали всякий хлам, выглядел диким и сумрачным, словно и впрямь служил пристанищем хичкоковским персонажам из его фильмов ужасов. Это был знак судьбы. Поиск летней мастерской обернулся находкой своего нового дома, новой родины...

Жизнь Михаила Шемякина — готовый сюжет для классического приключенческого романа. «Мое детство, — рассказывал художник, — это беспробудная темная ночь, залитая кровью. Больше всего я боялся в детстве, как и все мальчишки, которые больше любят мать, чем отца, что отец убьет мою мать. Он ее зверски избивал, нередко дело заканчивалось пальбой. Нам приходилось выпрыгивать в окно, когда он хватал шашку и начинал рубить все подряд...»

Повзрослев, Шемякин столкнулся с испытаниями другого порядка: исключение из художественной школы с «волчьим билетом», психушки, последствия психотропных препаратов — все шло в дело, чтобы выбить из художника «непонятный народу» талант. Радетели чистоты народных нравов не могли и представить ту мощь, с которой художник заявит о себе миру.

Мне посчастливилось побывать в Клавераке, в поместье Михаила Шемякина. Сумрачный замок стоял чуть поодаль от его бревенчатого двухэтажного дома. Рослый, с теленка, ньюфаундленд Портос ласково вскидывал свою львиную башку — радовался гостям. Ликование пса достигло кульминации, когда на пороге дома появился хозяин. В пятнистой куртке-сюртуке защитного цвета, с закатанными руками, в зеленой фуражке-конфедератке, художник походил на отдыхающего польского офицера. Еще эти черные галифе, заправленные в высокие сапоги. Ворот темной водолазки охватывал смуглую шею. Узкие губы, остро очерченный прямой нос. Очки с широкими дужками прятали, как мне показалось, рыжеватые, чуть вытянутые глаза. Бурый шрам — свидетель работы художника с металлом — пластался на правой щеке, придавая красивому тонкому лицу особый мужественный шарм.

В годы, когда Шемякин жил в Ленинграде, я не был с ним знаком лично — только по слухам. Как-то молодые художники-

нонконформисты устроили полулегальную выставку на квартире — опасная по тем временам затея. На выставке экспонировались и работы Шемякина. Впоследствии я слышал о Шемякине от его приятеля, поэта-художника Владимира Уфлянда. Вот, пожалуй, и все. Но облик Шемякина был мне знаком — слишком известен становился художник в мире. Известность эта нет-нет да и пробивала железный занавес семидесятых годов.

И вот я увидел его воочию и, честно говоря, оробел. То ли ландшафт поместья с сумрачным замком был тому причиной, то ли мраморные статуи сфинксов перед крыльцом хозяйского дома, то ли таинственный парк с белеющими в темной зелени скульптурами, а вероятнее всего — всемирная известность самого хозяина. Но робость тут же прошла: простота и сердечность хозяина поместья и его милой помощницы и секретаря Сарры развеяли напряженность первой минуты.

Погружение в мир Шемякина — я не отделяю художника от его творений — требует присутствия духа, оптимизма, силы воли и черт знает еще чего... Работы его нельзя просто созерцать. Они заставляют думать, призывают думать, охватывают сознание горячкой сопричастности. Вглядываясь в сидящего в кресле голема — Петра Великого, что расположился у входа в хозяйский дом, — я вновь испытывал смятение, которое охватило меня в момент первого знакомства с таким Петром, в Петропавловской крепости в Петербурге. Воля этого императора на столетия вперед определила судьбу России. А здесь, в Клавераке, казалось, император открывает парад шемякинских героев, разбросанных по всему парку, разбитому на месте осушенного болота. Позади императора стояло на задних лапах странное бронзовое существо: не то крыса, не то вепрь — в мундире, с офицерскими эполетами. А рядом — двуликий Гамлет на коне, с торсом-позвоночником, от которого расходились ноги, спрямленные лошадиным крупом. Одна нога в ботфорте, вторая — обнаженная. В левой руке, закованной в рыцарские доспехи, череп бедного Йорика, правая, мирная, рука придерживает поводья лошади. Извечный вопрос, заданный человечеству, — быть или не быть? — Шемякин передоверил этой «раздвоенной» фигуре принца Датского, предлагая зрителю самостоятельно дать на него ответ...

В стороне от парада бронзовых скульптур разместились мраморные бюсты несчастных монархов: Марии Антуанетты

и Людовика XVI, казенных Конвентом, — это единственные изваяния в парке, сработанные не руками Шемякина, художник привез их из Франции...

Мир Шемякина... Я казался себе маленьким человечком, стоящим на берегу океана и с замиранием сердца смотрящим на гигантские валы прибоя. Все, что я видел в просторном доме, заполненном творениями хозяина, — от фигур людей-мутантов до коконов, покрытых капиллярами трещин, — все представляло собой аллегорическое олицетворение людских пороков и добродетелей. Поражал арсенал материалов, которыми пользуется художник. Тут и металл, и легкий белый фибергласс, и дерево, и бумага, и гипс... В каждой работе — будь то ритуальная маска или гигантский монумент памяти жертвам холокоста — везде присутствует философский анализ художника воистину ренессансной мощи.

Мир Шемякина не ограничивается поместьем Клаверак, он охватывает городок Хадсон, жители которого гордятся соседством с таким художником. Ежегодный осенний фестиваль искусств притягивает в Хадсон людей со всего света. И традиционная выставка Шемякина «Гармония в белом» является центром этого фестиваля, его главной приманкой. А старая заброшенная фабрика, где размещается шемякинская библиотека, его «запасник», его архив, собирает под свою крышу специалистов, изучающих творческое наследие художника, его методы, его эстетику... Невольно возникает мысль: какая удача для человечества, что Россия исторгла из себя в те, семидесятые годы гражданина Шемякина, и какая удача для России — мир узнал еще одного русского гения...

Лос-Анджелес... начало

Лос-Анджелес втягивал в себя наш усталый поезд медленно и лениво, словно сытый итальянский мальчуган последнюю макаронину-спагетти. Вероятно, мы прибывали раньше расписания. Гигантский мегаполис, состоящий из восьмидесяти двух городов, связанных обручем океанского побережья, сонно поглядывал на поезд компании «Амтрак» сквозь ресницы пальм. Красиво сказано, но, видит бог, это и на самом деле так... Где группами, где в одиночестве, пальмы приковывали

взгляд. Какие только формы не придумала природа для этих представителей субтропического климата. Высокие, тоненькие, с лохматой прической; короткие, ершистые, с длинными языками листьев; крепенькие, вскинутые, словно застывший взрыв; изогнутые, поросшие патлами мха, точно нестриженный божж...

Как они не похожи на своих северных родичей — строгих, суровых деревьев — безмолвных свидетелей нашей жизни. Неподалеку от моего балкона, что на третьем этаже Дома творчества писателей в поселке Комарово под Петербургом, росла ель — темно-зеленая с голубым отливом красавица, колючая, неприступная, как и положено красавице. Номер мой был знаменит тем, что прежде там частенько проживал Федор Абрамов. «Писатель-деревенщик», как определили его литературные критики. Им было удобно, разделив писателей по жанрам — городской, деревенский, производственный, — угощать читателя своей каучуковой критической жвачкой. «Писатель-деревенщик» Федор Абрамов был правдивым и психологически тонким художником. Он умер. И понемногу стали о нем забывать, хоть деревенский мужик, о котором так проникновенно писал Абрамов, жив в русской глубинке и по сию пору. Была жива и ель — высокая, с пышным широким подолом до самой земли...

После Абрамова в номере проживал Глеб Горбовский — поэт, страдающая душа, стих которого завораживает особым родниковым талантом. Глеб, пьющий человек, сам мучился этим и доставлял огорчения друзьям... Ель все видела через балкон и сокрушалась, покачивая широкими лапами... И другие писатели проводили свой «творческий наезд» в этом угловом номере под приглядом ели. Живал там и я. Но однажды, после долгого перерыва, я не увидел перед балконом красавицы-ели. Никто не знал, куда она подевалась. Возможно, ее срубил под Рождество какой-нибудь «новый русский». Огорченный, я перешел в соседний номер, благо выбор был — многим писателям оказалось не по карману пребывание в своем Доме творчества, иные настали времена...

Вот и сейчас кроны калифорнийских красавиц пробуждали во мне то же настроение печальной радости, что я некогда испытывал, глядя сквозь стекло балконной двери на заснеженную карельскую ель в тихом поселке Комарово.

Я вертел головой, пытаюсь разглядеть хотя бы одну из трех гор, в ладонях которых раскинулся Лос-Анджелес: Сан-Габриэль, Санта-Моника и Санта-Анна, но кроме приземистых домов, случайных прохожих и бесчисленных автомобилей ничего пока не видел — чертovy справочники, доверись им, а потом оказывается, что тебя водят за нос.

Еще в справочниках помечено, что Город ангелов — Лос-Анджелес — основан в 1781 году на территории Мексики, входившей в те стародавние времена в состав вице-королевства Новая Испания. А после Мексика завоевала независимость... Так и быть бы ему мексиканским, если б американцы не прикарманили эти земли в результате войны 1846–1848 годов, превратив со временем тихий городишко Пуэбло в гигантский мегаполис Лос-Анджелес...

А происходило все довольно забавно. Отряд под командованием бравого американца Стокмана в самом начале войны, в 1846 году, вошел в Пуэбло. Губернатор сбежал, жители попрятались по домам. Тогда веселый американец вывел на городскую площадь военный духовой оркестр. Поначалу музыку слушали овцы и бараны, потом появились и детишки. А часа через три и взрослые... особенно их изумлял бас-геликон, сверкающее на солнце медное страшилище. Неделю гремела музыка на городской площади — и жители сдались, приняли американцев, жизнь вошла в свою колею. Все складывалось хорошо, пока Стокман не уехал домой, на восток, оставив вместо себя заместителя. Солдафон и грубиян, новый начальник тотчас установил в городе свои порядки. Свободолюбивым жителям Пуэбло это не понравилось, и однажды, собравшись, они взашей прогнали охамевших гринго. Отряд позорно бежал и занял оборону на вершине холма, прозванного «форт Лаур». Так они и сидели в осаде, пока их не освободил экспедиционный мормонский полк.

С тех пор ежегодно на площади бывшего городка Пуэбло, в центре Лос-Анджелеса, в один из весенних дней играет военный духовой оркестр.

Вот уж не думал, что железнодорожный вокзал Лос-Анджелеса столь неприметен на вид. Архитектор Паркинсон возвел его в 1939 году, придав вокзалу облик испано-мексиканской миссии — невысокого здания с элементами мавританского стиля. Юнион-стейшен оказался последним крупным вокзальным сооружением Америки — сказывался упадок значения железнодорожного транспорта как средства передвижения...

В плаще, в глухом свитере и черных туфлях, затянутых широкими пенсионными шнурками, я шел через тихий и прохладный аквариум зала ожидания, вдоль деревянных скамеек, раз-

деленных между собой кадками с пальмами. А вокруг люди в шортах глядели на меня с нескрываемым любопытством, точно жители Сочи на колхозника-якута, приехавшего на курорт по путевке профсоюза в разгар сезона гона оленей...

Отыскав туалетную комнату, я вкатил чемодан в просторную секцию, рассчитанную на инвалидов-колясочников, и вскоре преобразился в моложавого, довольно спортивного бодрячка, вполне готового показаться на глаза встречающим меня родственникам... которых на месте не оказалось. Привокзальная площадь была, скамья справа от центрального входа была, пальма с седыми бакенбардами была, а Мери Гурович, моей троюродной сестры, — не было...

Я вглядывался в снующих вокруг людей. Не могли же мы настолько измениться, чтобы не узнать друг друга... Пришлось воспользоваться телефоном. В ответ откуда-то из глубины Лос-Анджелеса донесся голос моей троюродной сестры: Мери ждала меня дневным поездом, приготовила обед — куриный бульон с «маце-боллом» и фаршированную рыбу «как у мамы», а я вдруг приехал к завтраку. Конечно, она примчится на вокзал, надо лишь подождать минут сорок...

Я вернул телефонную трубку на место и присел, разыскав уютную скамеечку в тени пальмы.

К овальной паперти вокзала подкатывали автомобили; паренек в широкополом сомбреро осматривал уличные урны; бродячий продавец мороженого, сидя на облучке раскрашенной повозки, запряженной маленькой лошадкой, лавировал меж автомобилями, наигрывая прозрачную призывную мелодию. Я разглядывал привокзальную площадь. Солнце жадно лепилось ко всему, что охватывал взгляд. Оно напоминало мне солнце моего детства в жарком городе Баку. А память проявляла воспоминания, связанные с родственниками, у которых я собирался провести несколько дней перед броском в Монтерей...

Сюська

Конец двадцатых годов принес на Украину голод. Удивительно, как такое могло случиться в краю, самим господом богом уготовленном для плодородия и сытости. Голод захватил и Херсон, считавшийся жемчужиной юга Украины...

Мой папа, тогда еще двадцатилетний холостяк, встретил на углу Суворовской и Говардовской улиц своего ровесника и двоюродного брата Изю Гуровича по прозвищу Сюська. Папа знал, что Сюська уехал на заработки куда-то на Кавказ, и вдруг такая встреча. «Пиня, — обратился Сюська к своему двоюродному брату, — разве это жизнь? Люди от голода мрут как мухи. Вчера откинул копыта наш сосед Каценельбоген — уснул и не проснулся. Поехали на Кавказ, Пиня. Там шашлыки и виноград. Ты хочешь шашлык, Пиня?» Мой будущий папа сглотнул слюну и кивнул. Потом он сказал, что семейство Штемлеров намерено переехать в Ленинград. «Плюнь ты на семейство, Пиня. Мои тоже упираются, хотят в Ленинград. В Ленинграде стало тесно от евреев, как в субботу в хоральной синагоге. Весь Херсон и Николаев двинулись в Ленинград. В Ленинграде холод, снег, дождь и бытовой антисемитизм, подумай! Поехали в Баку, самый интернациональный город в мире. Это я тебе говорю, твой двоюродный брат Сюська. Я жил в этом Баку, как бог в Одессе. Халва, инжир и мацони. Знаешь, что такое мацони? Кислое молоко, но очень густое...»

И мой будущий папа выбрал Баку. Не то чтобы он боялся холода — у него просто не было теплых вещей, все поменяли на хлеб у молдаван, что привозили в Херсон продукты в обмен на вещи. Остались только книги. Будущий папа отправился в Баку в сандалиях, в рубашке навыпуск поверх парусиновых штанов, в поэтическом шарфике на тощей шее, со стопкой книг, перевязанных бечевкой, словно персонаж произведений Шолом-Алейхема...

Поначалу он жил у Сюськи в Арменикенде среди армян. Потом устроился работать в библиотеку при Доме железнодорожников и снял угол у грека на Татарской улице. Однажды летом 1931 года мой будущий папа сидел в трусах во дворе на табурете, в холодке. Он ел инжир и запивал его мацони. Отличное средство при несварении желудка — у моего будущего папы от недоедания в Херсоне как раз развилось это самое несварение. И вдруг он видит, что во двор входит мужчина в высокой каракулевой папахе, черной черкеске с газырями и с кинжалом на чеканенном поясе. Черкес вел под руку молоденькую девушку в сарафане, точно участковый милиционер нарушителя порядка.

— Сюська?! — изумился мой будущий папа, признав в черкесе своего двоюродного брата Изю Гуровича. От удивления

папа даже перестал есть инжир. — Что за наряд в тридцатиградусную жару? И что это за девушка в голубом сарафане?

— Это моя новая знакомая, — важно ответил Сюська, смахивая пот со смуглого лица. — Хочу тебе ее представить. Познакомьтесь.

— Рива, — скромно потупилась девушка, ловко освободив свою изящную белую руку из-под черного рукава черкески, что не осталось незамеченным для зоркого взора моего будущего папы.

— Пиня! — представился мой будущий папа. — Пинхус Шапсович. А можно и Петя. Петр Александрович. Как вам удобнее.

— Между прочим, Рива тоже из Херсона, — вставил Сюська, томясь под тяжелой папахой.

— Ну?! — удивился Пиня-Петя. — И где вы жили в Херсоне?

— На Забалке, — ответила девушка Рива и отвела взгляд.

Пиня-Петя ей приглянулся. Он внешне походил на одного юношу, который приходил в читальный зал херсонской городской библиотеки, набирал кучу книг и, едва усевшись, зарывал нос в раскрытые страницы. И так, не шевелясь, сидел до самого закрытия. Юноша очень нравился Риве. Однажды она переписала письмо Татьяны: «Я вас люблю, чего же боле...» Целиком. От строчки до строчки. И в конце подписала: «Рива». Юноша прочел записку. Покраснел, вышел из-за стола и дунул как ошпаренный из читального зала. Больше Рива его не видела...

— Вы работаете, учитесь? — Пине-Пете понравился и голос девушки, нежный, глубокий.

— Рива работает, — важно ответил Сюська. — В институте физкультуры. Рива бухгалтер-экономист.

— Как наш учитель Карл Маркс, — пошутил Пиня-Петя, беспартийный большевик. — Он тоже был экономист.

— Рива — старший экономист! — серьезно поправил Сюська, предвосхищая расхожий анекдот семидесятых годов.

Рива смущенно пожала мягкими плечами, чем окончательно сразила Пиню-Петю. Она и вправду была старшим экономистом. И младшим тоже. Она была единственным экономистом, ибо других экономистов в Бакинском институте физкультуры не было. Риву взяли на работу сразу же после окончания техникума — на такую грошовую зарплату трудно было найти охотника.

— Что же мы стоим, — засуетился Пиня-Петя. — У меня есть еще один табурет.

Он шмыгнул в комнату и вынес табурет, удерживая его за ножку, как держат рог упрямого барана. Другой рукой он прихватил связку книг, великодушно решив, что на книги сядет сам. Компания расселась. А когда из колодца достали ведро с холодным арбузом и был сделан первый хрустящий надрез в его полосатой шкуре, Пиня-Петя поинтересовался, почему Сюська в такую жару напялил боевой черкесский наряд.

— Во-первых, тебе пора знать: папаха и теплый зипун спасают от жары почище любой тени. Во-вторых, не мог же я вас знакомить в обычных белых штанах — неторжественно. Ну а в-третьих, — со значением понизил голос Сюська, — посмотрим, чем все это закончится. — И он игриво посмотрел на девушку Риву.

Рива сидела молча, выковыривая черные семечки из красной мякоти арбуза. Пиня-Петя почти осязал токи, что исходили от обольстительной фигуры девушки, у него кружилась голова, он чувствовал слабость. Впрочем, возможно, причиной слабости было несварение желудка — следствие недоедания в Херсоне...

— Значит, вы бухгалтер и старший экономист? — Пиня-Петя возобновил светский разговор. — И следовательно, вы хорошо считаете?

— Или! — Сюська высокомерно взглянул на двоюродного брата.

Рива продолжала выковыривать арбузные семечки, хотя давно можно было приступить к еде, — однако она была не так проста, хоть и приехала из Херсона.

— Тогда сосчитайте: сколько вам лет, если на дворе стоит тысяча девятьсот тридцать первый год? — продолжил Пиня-Петя.

— Двадцать, — ответила Рива.

— А мне? Если я родился в тысяча девятьсот седьмом году?

— Вам тогда должно быть двадцать четыре года, — прилежно ответила Рива, моя будущая мама.

— Ну?! — продолжал озорничать Пиня-Петя. — И кто сказал, что мы с вами не подходим друг другу?

— Я сказал. — Сюська бросил недоеденный арбуз и боевито поправил тяжелую папаху.

Свадьбу играли в столовой Дома железнодорожников. Рива и Пиня-Петя, юные и красивые, принимали поздравления друзей и соседей. Все проходило пристойно и весело. Пока не пришел двоюродный брат жениха Изя Гурович по прозвищу Сюська. В белых парусиновых туфлях и в белом чесучовом костюме, карман которого подозрительно оттопыривался. Сюська обвел присутствующих хмельным плывущим взглядом и остановил его на молодых.

— Пиня, — сказал Сюська. — И ты, Рива. Я желаю вам счастья, долгих лет и множества детей. Ибо еврейская семья без детей — все равно что револьвер без патронов. Но у меня, слава богу, патроны есть. По крайней мере, один найдется. Для себя.

С этими словами Сюська выхватил из кармана револьвер системы наган и приставил его ко лбу.

Все остолбенели. Никто не верил своим глазам, не говоря уж о том, что многие вообще впервые в жизни видели настоящий револьвер системы наган... Сюська же не сводил своих диких черных глаз с новобрачных.

Стало тихо, как после выстрела.

В это время в зал вошла Ривина мама, моя будущая бабушка, Мария Абрамовна Заславская, в девичестве Лазаревич. Надо знать мою бабушку! Ее боялся даже одноногий дворник Захар, а Захар грубил даже управдому Насруллаеву, которому вообще никто не перечил, даже участковый милиционер Алиев, который не боялся даже Аллаха, потому что был пламенным большевиком-ленинцем... Словом, бабушку боялись все, кроме меня. Но я появился позже, а стало быть, ее тогда боялись все, без исключения.

— Что за манера, босяк! — воскликнула бабушка. — Куда ты пришел? На свадьбу или в тир?! Хорошее воспитание дали своему сыну старики Гуровичи! — Бабушка шагнула к дрожащему Сюське и, разжав его холодные пальцы, вывернула оружие.

Сюська согнул ноги, присел на корточки и заплакал. Рива и Пиня-Петя подошли к нему и принялись гладить его по голове; они любили Сюську, но каждый по-своему... Потом, втроем, они отправились к Сюське домой, чтобы подложить наган в шкаф разявы-соседа, служившего охранником ювелирного магазина...

Так закончилась свадьба, которая состоялась в мае 1932 года, а через положенный природой срок, точно по расписанию, в январе 1933 года, родился я.

Сюсюка вернулся к своей жене, добрейшей женщине, тете Софе, которая уже растила его дочь — Мери, а вскоре после этой истории родилась еще одна дочь — Инна. Девочки до такой степени были похожи на отца своими мелкими, но яркими чертами лица, что незнакомые люди останавливали их на улице с вопросом: не дочери ли они Гуровича, начальника финансового отдела Машиностроительного завода имени Лейтенанта Шмидта? Вот они-то и проживали сейчас в Лос-Анджелесе. Старшая, Мери, жила под одной крышей с родной сестрой покойной матери, младшая — со своим семейством: мужем и двумя женатыми сыновьями и двумя внуками.

Возвращение, пусть мысленное, в далекие годы детства и юности было для меня столь трепетно, что смазывало впечатление от встречи с Лос-Анджелесом. Удел сентиментальной души... Интересно, я узнаю Мери? Ведь мы не виделись более сорока лет, с тех пор как я, закончив институт, уехал из Баку. Конечно, я нередко навещался, навещал родителей, но с родственниками пути как-то не пересекались. Однако отца девочек, дядю Изю Гуровича, легендарного Сюсюку, я видел довольно часто — он жил в Ленинграде со своей новой семьей, и мы дружили до самой его кончины...

Лос-Анджелес... продолжение

...Она меня узнала. И я ее узнал. Сквозь молодежь, с мелкими чертами, лицо проступал рисунок лица дяди Изю Гуровича: удивительно, как дочь была похожа на своего отца — что анфас, что в профиль. Сидя в машине, я искоса поглядывал на Мери, удивляясь подобному сходству.

Автомобиль резво нес нас вдоль бульвара Санта-Моника, смиряясь перед светофорами. Четкая геометрия здешних улиц напоминала мне геометрию улиц Петербурга, с той разницей, что дома тут были малоэтажны и унылы. Это обескураживало. Впрочем, классические контуры небоскребов даун-тауна высились в стороне от нашего маршрута, подсказывая, что рановато, пожалуй, составлять впечатление от Лос-Анджелеса — все еще впереди...

На каком-то отрезке бульвара взгляд, взметнувшись по-верх крыш, уперся в далекий лесистый холм с летящим словом «Голливуд», и я умиротворенно откинулся на теплую кожу автомобильного сиденья в предвкушении праздника.

Пятнадцатиметровые буквы возвела в 1923 году фирма по торговле недвижимостью в своих рекламных целях, и тогда надпись читалась как «Голливудленд». Тысячи лампочек, за которыми наблюдал специальный зритель, высвечивали по ночам это слово. Со временем четыре последние буквы куда-то исчезли. А парящие над городом буквы, вместе с целым районом Лос-Анджелеса, прибрал к рукам центр мировой киноиндустрии.

Кончился день. Кончился вечер. Подступала полночь... Витрины и окна первых этажей на бульваре Санта-Моника попрятались за ажурные металлические жалюзи, словно заперлись в тюремных камерах. Прохладный воздух холодил ноздри...

Получив карт-бланш на вольное времяпрепровождение, я шагал к Променаду — месту, на которое меня нацелил муж младшей троюродной сестры. «Там, — сказал он, — бездельничают всю ночь, а мне завтра спозаранку подниматься на работу. Знаешь, как работает Америка? Уходят засветло, приходят затемно — на том и стоит Америка». Честно говоря, я был рад: одиночество — лучший спутник в такой прогулке. Тем более весь вечер я был во власти родственников. Правда, днем, изловчившись, ускользнул с племянником Димой, что работал в Голливуде по компьютерной части...

Когда мы по прекрасному шоссе подъехали ко входу в этот киновертеп, Дима передал мне нагрудный знак штатного сотрудника, и я, нисколько не смущаясь, продефилировал мимо контролеров, реально ощутив тяжесть сэкономленных тридцати пяти долларов.

За металлической оградой студии кинокомпании «Юниверсал» я тотчас попал в толпу туристов, которым тут несть числа, и, сверяя свой маршрут с путеводителем, попытался по-быстрому обойти сей легендарный киногород. Но по-быстрому не удалось — толпа никуда не торопилась. Толпа наслаждалась... Оказывается, Голливуд — это не киностудия, как, скажем, «Ленфильм». Голливуд — это государство-конфедерация, раскинувшаяся в долине между двумя горными хребтами на нескольких высоченных холмах. И в этой конфедерации

существуют федеративные республики — «Юниверсал», «Парамаунт», «XX-век Фокс», «Метро Голдвин Майер», «Коламбия пикчерс» и множество более мелких. Со временем кое-кто из них вышел из конфедерации и покинул Голливуд, но все равно остался в пределах Лос-Анджелеса. Благо этот земной рай — с изумительным климатом, океаном, киношным ландшафтом — являл собой уникальную естественную съемочную площадку...

Студия «Юниверсал» в восприятии российского человека представляла собой огромный парк культуры и отдыха с аттракционами, кинозалами и пунктами общепита. Все так. Однако дело в том, какие аттракционы и кинозалы!

Выстояв очередь, я занял место в экскурсионном вагоне и... замер — я услышал русскую речь. Рядом разместилось семейство. Эмигрантами они не были, у меня нюх на эмигрантов. Папа — рыхлый мужчина с бабьим лицом и просторной лысиной, лет сорока, жена — приземистая широкоплечая блондинка в сарафане, с толстым обручальным кольцом на коротком пальце, и двое детей — мальчики, в джинсах и легких белых курточках. Очутившись в вагоне, мальчики бросились к окнам, оттеснив растяп-японцев с их фотоаппаратами. А родители, оставшись наедине, возобновили, видно, прерванный разговор. И я услышал чистый, без затей, хорошо обкатанный мат. Родители вспоминали какого-то Федора, который обещал подгрести к площадке, где «на стреме стояла эта паскудная обезьяна», но так и не пришел. Они говорили громко, словно в своей квартире. А кого стесняться? Кто тут их поймет? Одни папуасы вокруг, сплошь шантрапа раскосая — корейцы да японцы. Должен заметить, что за границей наш родной мат звучит несколько иначе, чем на Родине, как-то резче, экзотичнее, — так смотрится белый медведь на пальме.

Поезд тронулся. Кайф, который я получал, шпиона за «нашенским» семейством, нарушила колготня туристов.

Киногигант «Юниверсал» хвастал перед нами своими возможностями. Павильоны, съемочная техника, склады... Но чего это стоит в сравнении с макетами городов под открытым небом. В натуральную величину! Дома, целые кварталы домов, с площадями, скверами, действующими фонтанами... Города разных эпох и разных стран. Европейские, американские, азиатские. Города без единой живой души, даже без манекенов. Словно

разорвалась нейтронная бомба, уничтожив все живое... Какие только фильмы не снимались в этих кварталах, в этих домах, квартиры которых меблированы в полном соответствии с эпохой, даже кровати застелены; каких только артистов не видели эти тротуары...

Едва наш поезд миновал последнее строение и пересек ветхий на вид мост, как стропила моста дрогнули и развалились — начались главные фокусы... Могучий поток воды зверем кинулся к нашему вагону, круша на пути столбы и строения. Едва вагон выбрался из этого ужаса, как новая напасть ожидала туристов за их же деньги: в подземном туннеле они попали в зону землетрясения. Тут были все прелести этого бедствия — снопы пламени кидали отблески на их перепуганные лица, щедро сыпались искры разрядов оборванных электрических кабелей, из порушенных городских магистралей хлестали потоки воды. В провал падал объятый пламенем бензовоз, которого землетрясение застало как раз над туннелем метро. Грохот, треск, вой, обломки досок, брызги. И в довершение появляется рожа гигантской обезьяны-убийцы Кинг-Конга...

— Вот он, вот он! — ошалело заорал один из мальчиков русского семейства. — Тот самый обезьян. Где мы ждали дядю Федора.

— Это, наверное, его брат, — рассудительно возразил второй мальчик.

— Вот дают, суки, — восхитительно бормотал лысый папаша, не отрывая глаз от окуляра видеокамеры. — А! Ведь никто не поверит, бля.

Вагон шел вдоль водоема, на котором рыбачил бедолага Джордж, о встрече с которым заранее предупредил гид.

— Джордж, Джордж, берегись! — заорали все туристы. И дети, и взрослые. И я, болван, орал вместе со всеми.

Мы видели, как к Джорджу со спины приближается гигантская акула, раззявив челюсти со страшными зубами... Джордж безмятежно рыбачил, он не слышал доброго совета... Мгновение, и челюсти сомкнулись, увлекая в пучину растяпу Джорджа.

— О, Джордж! — горевал весь вагон вслед за нашим гидом, длинноволосым парнягой.

— Это ж надо, придумали, суки! — восхищенно цокал языком лысый папаша, вскочив ногами на сиденье для улучшения обзора. — Ведь никто не поверит, бля!

— Слезь, Саша, оштрафуют. — Широкоплечая блондинка дергала мужа за штанину. — Саша! Кому я сказала! Александр! — Она смахивала с лица брызги воды, а может быть, капли пота — действительно было страшно, особенно в кратере вулкана, куда ненароком заскочил наш вагончик...

Впрочем, настоящий страх я испытал в кинотеатре будущего. Когда в звездолете облетал Галактику. Вот страх так страх! Звездолет, точно необъезженный мустанг, вскидывал привязанных ремнями зрителей, врезаясь в каких-то звездных врагов. Грохот, треск, вой, душераздирающие крики... «Черт бы меня побрал! — Я крепко зажмурил глаза. — Нужно мне это?! С моим давлением!» Вцепившись насмерть в подлокотники кресла, я проклинал свое любопытство, моля судьбу выпустить меня живым из этого ада. Десятиминутный киноаттракцион, казалось, длился вечность. Багровые сполохи сквозь веки проникали в мозг, расплавляясь там огненной магмой... Наконец казнь закончилась. Не чуя ног, я сполз со стула. Я видел очумелые лица других зрителей. Где тут выход, сволочи?! А навстречу, гогоча и радуясь, шла следующая группа подопытных туристов...

Выйдя из кинотеатра будущего, я поклялся больше не испытывать судьбу и, с благодарностью в сердце за оставленную мне жизнь, влился в праздную толпу зевак, идущих к выходу из киностудии «Юниверсал», на волю.

И тут я узрел гигантскую фигуру зловредной обезьяны Кинг-Конга, что терроризировала Нью-Йорк в одноименном фильме. Подле мохнатой лапы чудища жарился на солнце мужчина в широченных голубых шортах. Его тонкие кривые ноги напоминали два древка, над которыми повис голубой флаг. Обе руки мужчины оттягивали пластиковые мешки, а глаза шныряли по толпе: мужчина кого-то поджидал...

— Хелло, Федор, — произнес я с развязной интонацией. — Ну ты даешь, мужик! Они ж тебя ждали, ждали, а ты где-то мылился, блин.

Узкие гляделки мужика изумленно округлились.

— Кто ждал? — переспросил он недоверчиво — русская речь его обескуражила.

— Кто, кто... Сашка со своей кодлой. С бабой и пацанами.

— А ты кто? — одутловатое лицо мужчины налилось вишневым соком.

— Кто, кто... Конь в пальто, вот кто. Где же ты ошивался?

— В пирожковую заскочил. Потом обезьяну эту час искал, — виновато промямлил мужчина и грубо перешел в атаку — видно, был тертый калач. — А что же они, гады, не дождались меня у этой обезьяны, как договорились?! Я этому Сашке обломаю рога, попомнит...

— В пирожковую он заскочил, — передразнил я, отходя на безопасное расстояние. — Где ж ты ее раскопал? Пирожковые в России остались...

— От зараза, от зараза! — бушевал мужичок, хлопая себя сумками по ляжкам. — Всю гастроль попортил! — И он разразился таким сладкозвучным матом, что я в наслаждении прикрыл глаза...

Упреждая расспросы, я двинулся к выходу, оставив краснорожего в полном недоумении относительно моей персоны. Свершив проказу, я покинул киностудию «Юниверсал» с чувством выполненного долга...

Так вот сложился день. Потом наступил вечер с обильной едой в кругу родственников, с воспоминаниями, обменом информацией о житье-бытье...

И вот настала полночь с прогулкой к Променаду, центру тусовки лос-анджелесских панков... И прохладный воздух с океана охлаждал ноздри. И деревья светились в ночи мириадами маленьких лампочек в память о сравнительно недавнем Рождестве. И витрины магазинов с опущенными металлическими шторами, подобно закрытым глазам улицы. И редкие прохожие, что шли навстречу, — почему-то, в основном, мужские пары.

Поначалу я не обратил внимания на это однообразие, а потом дотумкал — так это же знаменитый квартал на бульваре Санта-Моника. Тот самый квартал, что смущал симпатягу Эдди Уайта — черно-белого проводника поезда Нью-Йорк — Чикаго. Проблемы гомосексуалистов и лесбиянок все больше и больше тревожат как весь мир, так и Америку. Устраивают диспуты, проводят конгрессы; парады сексуальных меньшинств на Пятой авеню в Нью-Йорке вот-вот войдут в традицию, станут чуть ли не национальным праздником. У меня нет определенного отношения к этим социально-биологическим прибамбасам человечества, но мне понятно одно: если общество не может отторгнуть это явление естественным путем, если это

явление есть форма существования части людей — и подчас людей выдающихся, прославивших человечество, — то силовой запрет никакого результата не даст. И более того — запрет, как форма насилия, будет иметь иные, не всегда предсказуемые негативные последствия...

Столики, рассчитанные на двоих посетителей, занимали правую, притемненную часть зала, а на левой стороне высились три подиума. Два из них пустовали, а на третьем работал парень лет двадцати. Совершенно обнаженный, если не считать узкой кожаной шлеи, которая спереди едва прикрывала футляром его «половой признак», а позади узкой вертикальной полоской делила смуглый зад на две великолепные спелые ягодицы. Тонкая, девичья талия поддерживала мощный торс, классически расширившийся к хорошо тренированным плечам. Парень был красив. Его точеное лицо обрамляли темные прямые волосы, собранные бантом в конский хвост, который в такт движению обмахивал скульптурную спину, подобно дворникам лобового автомобильного стекла. И все это великолепие опиралось на стройные ноги, обутые в черные высокие сапоги...

Вокруг подиума, положив согнутые в локтях руки на голубой бархатный бордюр, замерли человек шесть знатоков. Глядя снизу вверх на своего кумира, они исторгали возгласы умиления и восторга. А парень крутил торсом, крутил задом, принимал невообразимые фривольные позы, облизывал языком металлический штaketник, вокруг которого и изгалялся. Почему-то именно последние движения более всего возбуждали зрителей. Кое-кто из них тянулся в экстазе к сапогам парня, пытаясь их поцеловать. Но вот музыка сменилась, парень упорхнул за бархатные шторы, и на подиум взлетел другой юноша. Такой же красавец, с диким мексиканским лицом. Вместо шлеи бедра его стягивали какие-то хитрые трусы, которые обнажали все его прелести, но при этом были снабжены довольно вместительными карманами.

— О, Изабель! — завопили знатоки. — Изабель! Дорогая!

Из полутьмы правой стороны зала потянулись новые зрители, предвкушавшие особое наслаждение. К своему удивлению, среди знатоков я заметил и двух женщин. Впрочем, возможно, это были транссексуалы — мужчины, косящие под женщин.

Изабель, подобно греческому богу, картинно оперся о штaketник и обратился к зрителям с проповедью на испанском

языке. О чем он вещал, я не понял. То ли о прелести однополый любви, то ли о помощи голодающим детям в Никарагуа, то ли о предвыборной кампании в России. Но по реакции зрителей было ясно, что он попал в точку, — знатоки стонали в экстазе и постукивали ладонями о край подиума. Под их ритм Изабель принялся выкаблучиваться в таких позах, что даже у меня, человека далекого от этого дела, появилось какое-то странное желание... «Ну их к бесу, — подумал я, — еще, чего доброго, завербуют», — и, прихватив свою банку с колой, двинулся к выходу, заметив боковым зрением, как парень обходит подиум, принимая в карман заработанную денежку.

Я испытывал досаду, что никто не подсел к моему столику, не пытался меня соблазнить. Так я и просидел невостребованным, вероятно, совсем уже выпал в тираж. Конечно, я шучу. А если всерьез — среди знатоков я заметил несколько своих ровесников, а один, что сидел, обняв кого-то за плечи, так вообще был дед, и ничего. «Вероятно, тут собрались гомосексантисемиты», — тешил я себя. В следующий клуб мне заходить расхотелось...

Я знал в Петербурге одного гея, даже в романе его описал, в «Коммерсантах» — есть у меня такой роман, о событиях в России 1989–1991 годов, веселенькое было времечко. Так вот, этот гей частенько хаживал в Катькин сад, что напротив Александринского театра, играл в шахматы на деньги. Бледное, хилое существо. Ноздреватую кожу его рук и лица покрывали какие-то цыпки, остренький, обычно припудренный, носик и напомаженные губы свидетельствовали о том, что он «пассивный» гей. Разве можно было его сравнить с мордастыми и задастыми мексиканцами, что развлекались в ночном клубе на бульваре Санта-Моника в Лос-Анджелесе...

Ну да бог с ними!

«Ахчи» из Кировакана

Променад поначалу меня разочаровал... Впрочем, что можно узреть посреди обычной рабочей недели, глубокой ночью, да еще зимой! Я обходил улицу, чувствуя в себе служебную алчность коменданта учреждения, который производит квартальную опись имущества...

Мальчишка лет четырнадцати, мексиканец, в блестящем облегающем костюме, выделявал телом такие кунштюки, что кривляке Майклу Джексону впору было уйти на пенсию. Навероятно, какую пластику может демонстрировать мальчишеское тело, это надо видеть... Проследить воочию линию его рук и ног не так просто, глаза непостижимым образом фиксируют только след этих движений, получается этакий человек-пунктир. Ради кого он так старается? Вокруг стоят человек пять таких же огольцов. Они выуживают из пакетика чипсы и равнодушно глядят на артиста с видом «и мы так умеем».

Поодаль расположился другой умелец. Вначале я подумал, что посреди Променада воздвигли памятник президенту Линкольну — зеленый, точно на пятидолларовой купюре. Правда, в шляпе со звездно-полосатым окладом. Приблизился, взгляделся в остроносое лицо шестнадцатого президента, освободителя рабов, — вроде президент моргает. Так это живая скульптура! Не впервые я сталкивался с таким способом зарабатывать денежку. И в Москве, и в Питере нашлись подражатели. Но каждый раз я испытывал перед ними чувство вины, сам не знаю отчего. Вообще чувство вины всегда пробуждается во мне при виде нищих. Нащупав в кармане квотер, я бросил его в чашу, что стояла у ног «президента». Мелкая монета квотер. Попрошайки в Америке, как правило, требуют доллар или больше, а за квотер нередко шлют проклятия вслед благодетелю, а то могут и по шее накостылять сгоряча.

А в отдалении требовал к себе внимания другой артист — пожилой мужчина живописного вида. Его седые нечесаные космы падали на широкие плечи, украшенные расписным жилетом. Тонкую талию обтягивал красный платок, из-под которого выпростались потертые джинсы. Облик мужчины излучал королевское достоинство. Резко очерченные губы под сухим птичьим носом сжимали деревянную трубку, через которую фокусник выдувал огромные мыльные шары, запуская в них табачный дым. В разноцветных лучах фонарика шары являли фантастическое зрелище. А тут еще юное дарование с ангельским ликом, сидевшее за клавиатурой электронного синтезатора, неназойливо предлагало собственное сочинение...

Магазины-бутики, антикварные лавки, ювелирные салоны. Особенно завораживали индусские магазины с резными изделиями из дерева и кости. Изображения Будды, танцовщиц,

бытовые сценки... Поражала проработанность каждой детали, каждой складки одежды, каждого волоска на шкуре животных. Продавец не ходил за тобой по пятам, как это здесь принято, не канючил, предлагая свои услуги. Магазин-музей — тут посетитель предоставлен самому себе...

Первое впечатление от, казалось бы, дремлющего Променада улетучилось. Я с любопытством дефилировал вдоль четырех кварталов, что ограничивали Променад, в толпе таких же припозднившихся зевак. Небо над Променадом близкое, теплое и без звезд. Вообще над Америкой звезд маловато. Удивительно. А те, что есть, почему-то очень мелкие, точно иголочные проколы. То ли такой абберационный эффект над этой частью Земного шара, то ли я задираю голову не в звездный сезон. Вот Луна — да! Такой огромной луны в России я что-то не примечал. Огромная, сытая: кажется, протяни в полнолуние руку — и достанешь. А вот звезды подкачали...

На американском флаге они больше впечатляют — постаралась мисс Бетси Росс в 1776 году, после того как в ее швейную мастерскую в Филадельфии заглянул Джордж Вашингтон, первый президент первых тринадцати Соединенных Штатов. Мастерца Бетси почтительно выслушала пожелания президента и выполнила заказ. Да так удачно, что сшитый ею флаг был принят конгрессом как основа государственного флага, после чего имя тетушки Росс вошло в историю Соединенных Штатов. Теперь звезд на флаге уже заметно прибавилось, — а вот полос осталось столько же, сколько нашла Бетси Росс, — тринадцать, по числу первых штатов.

В конце Променада какой-то художник — крепкий парняга с массивной цепью на шее и с сигарой во рту, — прищурившись от табачного дыма, размалевывал красками спину полуголой девицы, что сидела перед ним на коврик и читала книжку. Бросив прощальный взгляд на боди-артчика и его модель, я свернул на боковую улицу, и тут мой нос уловил до боли знакомый запах, а глаза узрели надпись на русском языке: «Хароший шашлик! Заходи — потанцуем!». В Лос-Анджелесе русскоязычная община считается второй после Нью-Йорка по численности, так что подобных заведений здесь немерено. Шашлык мне не хотелось, а вот кутаб — тяжелый, влажный, с золотистой поджаристой оборочкой — я бы съел...

Шашлычная пустовала. Четыре столика, покрытые цветной клеенкой, выглядели сиротливо, не спасали даже букетики хилых цветов, засунутых то ли в стакан, то ли в банку. Ну точно как в Баку времен моей молодости. Сейчас наверняка появится хозяин — усатый азербайджанец в замызганном переднике... Но появилась женщина, причем — армянка. Это я сразу усек — сказывался давний опыт общения с восточными людьми. Женщина была среднего роста, скрюченная, со впалыми щеками на изможденном лице и длинноватым, каким-то усталым носом. Она подошла к моему столику, оперлась о клеенку сжатым кулачком и молча уставилась на меня черными круглыми глазами.

— Ха-ес? — спросил я, — мол, армянка?

— Ха, — ответила официантка без особого расположения — да, мол, армянка — и перешла на русский. — Что будешь кушать? Чанахи, шашлык, люля-кебаб? Или хаш? Есть свежий хаш.

— Какой хаш, женщина, — в тон ответил я. — Два часа ночи.

— Как раз время для хаша, — упрямо проговорила официантка.

В чем-то она была права. В Баку отведают хаш — густой бульон из бараньих костей — любители съезжались чуть ли не в шесть утра. После чего сил хватало на весь день...

— Кутабы есть? — спросил я. — Свежие?

— Как для брата сделаем, — ответила официантка. — Два доллара три штуки. Порция.

— Порцию кутабов, — распорядился я. — И больше ничего.

— Ладно, ладно, — ответила официантка и ушла так же тихо, как и появилась.

«Молодец, хозяин, — подумал я. — Держит бакинский духан в центре Лос-Анджелеса. Наверняка сюда тянутся те, кто привык в той, давней жизни к подобной обстановке»... И оказалась прав, официантка подтвердила: «Раньше, когда здесь все было как у всех, посетители заглядывали нечасто, и Кямал — так звали хозяина — все переменял. Накрыв столы клеенкой, стулья заменил табуретами, повесил на стену палас, в туалете поставил афтафу, кувшин для омовений, а на дверях намалевал краской УБОРНЫЙ... Выбросил американскую музыкальную установку — посадил зурначей. Теперь приезжают люди из Вест-Голливуда, из Беверли-Хиллз приезжают. Отовсюду,

где живут наши... Только на повара посмотреть приезжают — он раньше работал в Баку, в гостинице «Интурист». Лучше него никто в Калифорнии шашлык не делает. А ты что заказал? Ах кутабы... счас принесу...»

И принесла. Тонкие, почти прозрачные, с золотистыми хрустящими фестончиками по краям, присыпанные сумахом — измельченным сушеным гранатом... О блаженство! Какие тут могут быть «ножи-вилки»? Я приподнял влажное, но крепкое тельце кутаба, чуть надорвал и впился зубами. Глаза сами прикрылись в предвкушении наслаждения, но... что-то было не то, не тот вкус, не тот...

— Конечно, — сказала официантка. — В Америке разве есть настоящая баранина? У ихнего барана мясо сладкое, химией кормят барана... Ты откуда приехал сам?

— Из Петербурга.

— А грин-карта уже есть?

— Я в гостях.

— А... Молодец, так и надо. — Официантка придвинула табурет и села. — Ты какой нации? Еврей, да? Так я и знала. Но ничего, у вашей нации тоже бывают хорошие люди.

Я согласно кивнул, продолжая уплетать кутаб. Тетка явно маялась от скуки... Вскоре я узнал, что она приехала из Кировакана, родственники уговорили. Сказали, что армян здесь больше, чем в Армении. Что в Армении все равно ничего хорошего не будет. Уговорили сына. А что ей делать без сына в Кировакане? Муж давно умер. Так давно, что она думает — он никогда и не жил...

Я кивнул, достойно оценив юмор, и продолжил расправу с кутабом. Минуты две официантка молчала, разглаживая морщины клеенки.

— А... Разве здесь продукты? — вновь заговорила она. — Даже соль здесь другая, клянусь мами. Ты пробовал здесь соль?

— Нет, — признался я не без удивления.

— Другая. Здесь совсем-совсем соленая, у нас не такая. А молоко? Разве у них молоко? Совсем не киснет. Настоящее молоко должно киснуть, да? А у них — нет. Одна химия белого цвета. Год будет стоять, не прокиснет... У тебя внуки есть? — и, не дождавшись ответа, продолжила. — У меня два внука. По-русски не разговаривают, по-армянски не разговаривают. Только по-английски.

— А ты? — Войдя во вкус, я с вождением поглядывал на второй кутаб. — По-английски разговариваешь?

— Не-а. Жду.

— Чего ждешь? — озадаченно переспросил я. — Что американцы начнут разговаривать по-армянски?

— Не-а, — серьезно ответила она. — Жду, когда вернусь в Кировакан, домой.

— Тебе здесь плохо? — участливо поинтересовался я.

— Почему плохо? Хозяин — хороший человек, хотя азербайджанец. Комната есть. Я с сыном живу, с его женой, с внуками. Почему плохо? Только дома лучше. Пускай здесь молодые живут, я хочу умереть в Кировакане...

— Куда спешишь, женщина? Умереть! Тебе сколько лет? — Мне все больше нравился разговор. Даже появился акцент, у меня всегда появляется восточный акцент, когда встречаю кавказских людей, эдакая невольная ностальгическая нотка.

— Много лет, — вздохнула официантка. — Шестьдесят три будет в мае. А тебе? — и, выслушав, сказала после паузы: — Ты выглядишь лучше. Мой отец уже умер в твоём возрасте... Вай мэ, что я говорю! — закусила она губу и посмотрела на меня как на покойника.

Я принялся за второй кутаб.

— Ты на мужа моей младшей сестры похож. Хороший человек, но дурак большой.

— Почему дурак? — пробурчал я.

— Потому что живет с такой, как моя сестра.

Впалые щеки официантки покрылись румянцем, а нос заострился. Очень уж ей хотелось поговорить. Я не торопил официантку с откровением, чувствуя, что тем самым только распаляю ее желание с кем-то поделить своими заботами в этот скучный ночной час.

— Скажи хозяину, пусть повесит на окна ленты с клеем. От мух. Совсем будет, как в духане.

— Какие мухи, где мухи? — озадаченно спросила официантка.

— У стекла, в окне. Я видел.

— Какие мухи?! Вай мэ... Колибри! Птичка такая, как наперсток. Только это сумасшедшая колибри: ночью колибри спят.

— Колибри?! — воскликнул я. — Верно, колибри... — Ведь я приехал в страну пальм и колибри.

— В Америке все не так, как у нас, — утешала меня официантка. — Ты видел за углом мужчину? На Променаде. Здоровый такой амбал. Сидит целый день с голой женщиной, всякие картинки на ней рисует. Слушай, возьми бумагу, на бумаге рисуй, да... На живой женщине рисует, негодяй... Когда я прохожу, всегда плююсь, он меня уже знает. — Официантка разгорячилась, щеки ее пылали розовым цветом атаки. — Ему в Кировакане давно бы клир оторвали за такое хулиганство, клянусь мами. А в Америке все можно.

Я сочувственно кивнул и, прикончив последний кутаб, вытаскил из пенала салфетку.

— Хочешь мацони? — предложила официантка. — А чай? Хороший чай, английский, спецзаказ. Не хочешь? Сама за тебя заплачу, только пей, да. Что тебе, жалко? — и, заметив мое удивление, она проговорила, чуть понизив голос: — Понимаешь, если ты сидишь, чай пьешь, я за тебя кэш получу. Знаешь, что такое кэш? Доллары в руку, чистыми. Восемь долларов в час, а ночью — десять. Кямал сказал: когда нет клиента, иди домой. Теперь как я уйду домой, если сидит клиент? И повар знает, он там бастурму на завтра готовит. — Официантка повела острым подбородком куда-то в стену. — Хитрая армянка, да? — Когда она улыбалась, худое, испещренное заботами, ее лицо светилось детским лукавством.

— Ладно, давай чай, — вздохнул я. — Выпью и сразу уйду. — Я со значением посмотрел на часы.

Чай был поднесен с ритуальной точностью. По-восточному... Вначале на столе появился выдавший виды пузатый, треснутый фаянсовый чайник. Под носиком чайника на проволоке висело мятое ситечко. Следом на клеенке оказался хрустально чистый маленький стакан-армуди в черненном подстаканнике и блюдечко с колотым сахаром. Поняла, хитрая, чем меня удержать, — я с детства обожал пить чай из стакана, формой похожего на грушу, или, по-азербайджански, армуд. Зараз мог выдуть не менее пяти стаканов.

— Ты тоже пей, — предложил я, раздобрев от ностальгических воспоминаний. — Принеси себе армуди.

— Я на работе, — строго ответила официантка.

С уютным плеском янтарная струя падала из ситечка в стакан, источая терпкий и густой аромат... Неужели они все это везли из своей Армении — чайники, стаканы, подстаканники, ситечко...

— Еще как везли, — проговорила официантка. — Таможня это пропускала. Говорили: пусть капиталисты узнают, как мы чай пьем... Моя сестра знаешь что привезла? Пианино! В моем контейнере везла, зараза. Мои платья, пальто-мальто вокруг положила, чтобы пианино не разбилось, — такая хитрая. Сказала: не надо тебе на таможню ходить, я сама все сделаю с Ран-тиком — это ее муж, тоже дурак большой. Когда контейнер пришел, я чуть не умерла — все мои вещи порвались, а ее пианино как из магазина, такая зараза...

— Что ты так родную сестру... — не удержался я.

— Зараза и гадина... Сколько я ей сделала добра, клянусь, я своему сыну столько не сделала. — Официантка похлопала ладонями по своим впалым щекам в знак правдивости сказанных слов. — Она училась в консерватории, я полы мыла, чтобы заработать копейку, ей послать. Когда она замуж за своего дурака вышла, я им такую постель подарила — на перину ляжешь, как в доме отдыха на Севане... Я тебе так скажу: эта Америка людей портит, клянусь. Как немного разбогатеют — все! Думают, что они уже с Богом в нарды играют, честное слово. На своих родственников даже не смотрят, а американцам жопу целуют. По-русски с акцентом разговаривают, слышал, да? Как клоуны, клянусь. Такая и моя сестра-хабалка со своим мужем, дураком.

— Почему дураком? — не удержался я.

— Потому что дурак. Она говорит: белое, он повторяет. Она на то же самое говорит: черное, он повторяет. Она его ругает, стулом бьет, он все терпит. Солидный, красивый мужчина, хорошо зарабатывает — он зубной техник. Сестра уже вся высохла — такая злая, зараза. Весь день лежит на пляже с подругами, загорает... «Я так устала на этих Гавайских островах... А я на Карибских любовь крутила... А я в Испании аборт делала...» Что ты так устала, зараза? Что ты сделала в этой жизни? Ты что, Эйнштейн, да? Или знаменитая артистка? Ты — говно. И на Гавайских островах ты — говно. И в Испании ты — говно, клянусь маме. И все друг о друге знают, что они говно... Ругают Армению, ругают Америку... Ара, что ты сделала для Америки?! Ара, кто тебя мучил в Армении? Ты жила там, как царица Тамара, потом приехала в Америку. «Ах, какая я несчастная, как я ненавижу коммунистов!» А сама партийный билет на кладбище закопала, у могилы отца, на всякий случай...

— Слушай, женщина... — Ладони мои обнимали остывающее тело стакана. — Я чай пью, ты мне аппетит портишь, — произнес я, невольно подражая манере разговора официантки. — Лучше расскажи, чем тебе так сестра насолила?

Официантка хлопнула обеими руками по коленям и принялась с силой поглаживать бедра, словно раскатывала тесто, — движение выражало крайнюю степень горя...

— Как можно такое рассказать, честное слово! У тебя дети есть?

— Да. Дочь есть.

— Красивая? На тебя похожа? Или на жену?

— Слушай, женщина. Два часа ночи. Или рассказывай, или я уйду, и ты не получишь свои ночные десять долларов...

— Хорошо, хорошо. — Официантка перестала раскатывать на коленях тесто и вскинула руки на манер персонажей из итальянских фильмов. — Все, все... Рассказываю. Клянусь мамой, самое плохое, когда человек жадный, он становится слепой, ничего не видит, только себя. Мой Стасик — так я сына назвала, в честь Анастаса Микояна — после института работал инженером. Потом он подал документы на выезд в Израиль — сам знаешь, да, как все происходило, ведь в нашей семье никогда не было евреев. Мы деньги заплатили и получили письмо, что наша дорогая тетя Песя целый день плачет в Израиле, хочет видеть своего родственника Стасика с семьей. Стасика выгнали с работы. Сказали: если ты армянин и вдобавок еврей, то сам найдешь себе работу, а позорить завод не дадим никому. И Стасик устроился работать страховым агентом... Еще чай хочешь, нет? Что, пузырь слабый? Ладно, ладно. Слушай дальше... Приехали в Лос-Анджелес, думали, что здесь много армян, большая община, нам помогут. Но никто нам не помог. Что у нас было? Один контейнер с рваным бельем... Только сестра хорошо устроилась. Один армянин, зубной доктор, взял на работу ее дурака мужа. Сестра нашла учеников — сольфеджио учить. «До-ре-ми-фа- соль», сам знаешь. Окна открыты, весь день несчастные дети гаммы кричат, как певчие в Эчмиадзине... А я, Стасик и его жена бегаем, ищем работу. Наконец Стасик устроился страховым агентом. Он пришел к сестре и говорит: «Тетя Эмма, поддержи коммерцию, застрахуйся с мужем». Сестру Эммой зовут, наш отец-шофер назвал ее в честь автомобиля «эм-один», такая машина была давно, «эмка»... Сестра говорит Стасику: «Хорошо,

мы согласны. Только отдашь нам половину денег, которые получишь за нашу страховку». Стасик согласился. Прошло три года. Стасик нашел работу компьютерщика, купил дом, внук родился. Вдруг его вызывают в страховую компанию. Там был начальник-армянин из Степанакерта. Говорит: «Слушай, Стасик, кто такая Эмма? Твоя тетя?! Ах, сволочь, смотри, что нам написала! Требуется вернуть ей деньги, а то подаст в суд. Возьми письмо, почитай». Стасик прочитал письмо и как стоял, так упал... Потом мне письмо принес. Я сразу узнала почерк сестры. Она написала, что, мол, ваш страховой агент Анастас Арзуманян три года назад плакал-умолял, чтобы застраховать меня с мужем на сто тысяч долларов. Пользуясь тем, что мы плохо знали английский, подsunул нам договор совсем не такой, о каком говорил. Мы подписали. Теперь мы выучили английский и поняли, что есть страховые компании лучше вашей. Требуем вернуть нам деньги, которые мы вам заплатили, — семь тысяч долларов и еще моральные издержки. Иначе мы напишем туда, куда надо, где специально следят за жуликами из страховых агентств. И вас с этим негодяем Анастасом Арзуманяном будут судить... Представляешь, родная тетя! — Официантка вновь принялась горестно раскатывать на коленях тесто. — Я, как была в чужаках и халате, побежала на Сансет-бульвар, где жила эта гадина. Упала в ноги, рву волосы. Как ты могла такое написать?! А сестра говорит: «Слушай, что ты волнуешься? Так все делают, это ведь Америка. Компания вернет нам деньги, мы тебе отдадим то, что сняли со Стасика, как комиссионные за нашу страховку. И еще дадим, когда получим за моральные издержки. И вам хорошо, и нам хорошо». А ее дурак муж говорит: «Если будет суд, Стасик скажет, что тоже плохо знал английский. Пусть компания за все отвечает». Такие звери!

Официантка умолкла, повернула голову и посмотрела на дверь, что вела в подсобку. Заскрежетали петли, и в дверной проем высунулось широкое, волосатое лицо, похожее на физиономию уменьшенного Кинг-Конга.

— Аня, ахчи! Таз помой! — хрипло произнес Кинг-Конг. — Два часа таз грязный стоит. И ведро. Барашка куда складывать? Ты головой думаешь? — Дверь захлопнулась.

Теперь мне стало понятно, почему со всего Лос-Анджелеса съезжаются люди в этот духан, чтобы поглазеть на лучшего повара из бакинской гостиницы «Интурист».

— Ладно, ладно! — Официантка махнула руками в сторону подсобки. — «Ахчи»! Тоже мне, девчонку нашел. На одну минуту присела, уже «таз помой»...

— Чем же кончилась эта история? — спросил я, расплачиваясь за кутабы и чай.

— Пока все тихо. Но если Стасика отдадут под суд, клянусь, я им горе сделаю...

Лос-Анджелес... еще немного

Двое славных людей — муж и жена, Генриетта и Марк, — несколько часов кряду возили меня по Лос-Анджелесу и рассказывали все, что они знали о Городе ангелов.

— Если бы на свете не было Санкт-Петербурга, — говорила Генриетта, — первым городом мира я бы признала Лос-Анджелес.

Марк согласно кивнул, он внимательно следил за дорогой...

— Чем я благодарна Советам, так это вколоченным в пионерскую голову пренебрежением к обогащению. Здесь я смотрю на очень богатых людей как на экспонаты, без восхищения и без зависти, — продолжала Генриетта. — А мир, что нас окружает, меня будоражит до спазмов в горле. Часами я могу смотреть на океан...

— Просто перед океаном, как перед господом, все равны, — буркнул флегматичный Марк. — Я не откажусь от миллиончика или двух, пусть лежат себе.

— Пусть себе лежат, — согласилась жена. — Мы на авеню Вильшер. А вот дом с самыми дорогими квартирами в мире.

Дом безликим каменным фасадом смотрел на авеню, названной по имени владельца этого здания. Каждая «квартира» занимала весь этаж и стоила несколько миллионов. Можно было прожить всю жизнь, не выходя из этих стен. В доме было все — от магазинов до парка, разбитого на крыше, и вертолетной площадки...

В Лос-Анджелесе деньгами никого особо не удивишь — больше на миллион, меньше на миллион! Побродил по Беверли-Хиллз, поглазей на поместья, где живут кинозвезды, адвокаты, врачи, где чуть ли не треть особняков принадлежит «новым русским». Или, скажем, прошвырнись по Родео-драйв,

одной из пяти самых дорогих улиц мира. Беверли-Хиллз — один из городов мегаполиса, где есть свой мэр, своя полиция, свое собственное законодательство...

В стародавние времена на этой земле, выжженной солнцем, находилось ранчо вдовы мексиканского солдата. Так она и жила там со своими детьми и братом, который ее нередко обижал. Вдова подала в суд, и брата отселили, правда, пришлось уплатить семнадцать долларов за дерево, что посадил брат, и два доллара — судебные издержки... Много произошло занятного на этой земле за полтора столетия — и набеги индейцев, и войны, и истощение почвы от выпаса овец, и неурожай фасоли, а в 1912 году даже открыли нефтяное месторождение... Наконец, кинозвезда Мэри Пикфорд купила себе охотничий домик, который стал вторым после Белого дома знаменитым домом Америки. С тех пор и воссияла слава Беверли-Хиллз, города богачей...

— Справа дом, где жил Бинг Кросби, — говорит Генриетта, — а дальше — зеленые ворота, — там скончалась Элла Фицджеральд. Слева особняк Люси Болл... А вон ограда Пола Ньюмена... А в этом доме, у своей любовницы, был убит Дикси Сигал. Как, вы не слышали о Дикси? Он основал Лас-Вегас в тысяча девятьсот тридцать шестом году, город-казино. Дикси задолжал шесть миллионов Меиру Лански, министру финансов короля гангстеров Аль Капоне... А в том доме жил Дуглас Фербенкс...

Генриетта: водила меня по самым глухим улочкам Беверли-Хиллз и, указывая на заросли кустарников, сквозь которые проглядывал угол какого-то дома, восклицала: «А здесь жила мать Чарли Чаплина!» Иногда она умолкала, пытливо и недоуменно вглядываясь в роскошный особняк: вероятно, здесь выстроили себе жилище «диверсанты» — «новые русские».

Путешествовать по городу в автомобиле комфортно, но отчасти бессмысленно. Как было хорошо бродить по бульвару Голливуд, сравнивая размер своей туфли с размером обуви моих любимцев — Джека Николсона или Аль Пачино...

Всего отпечатков подошв на тротуаре у кинотеатра «Менсчайнис» около двух тысяч. Дело это затеял Сид Грауфман, знаменитый продюсер, кинобосс и чудак. Почему чудак? Посудите сами: молодой красавец, окруженный кинозвездами, не имеет ни жены, ни любовницы; помолившись в синагоге, возвращается домой и ложится спать в десять вечера. Встает

в пять утра, завтракает под присмотром мамы и отправляется на работу в офис, расположенный в отеле «Амбассадор», где много лет спустя будет убит Роберт Кеннеди, сенатор и брат застреленного президента. И так из года в год. Он, мама и деловые заботы. Не чудак ли? Сид Грауфман построил кинотеатр в виде китайской пагоды, который был открыт премьерой фильма «Серенада солнечной долины». Каменщик-француз, завершив работу по строительству кинотеатра, оставил отпечаток своей подошвы на асфальте. И объяснил удивленному Сиду, что так заканчивали работу каменщики при строительстве Нотр-Дам де Пари. И Сид решил: что годится для Нотр-Дам, подойдет и ему... Но Сид Грауфман был деловым американцем: за каждый отпечаток в бетоне подошвы или растопыренной ладошки кинозвезда должна заплатить две тысячи долларов. Такса! По тем временам, кстати, деньги немалые... Зато появилась реальная возможность оставить след в истории...

Земфира из Санта-Барбары

Нынешняя моя поездка привязана к поезду. Вот и приходится искать приемы, чтобы не усыпить читателя стуком колес и не набить оскомину однообразием письма, подобно «бликам солнца, что ласкают стены вагона». А это нелегко. Хочется просить о снисхождении... Произведения такого жанра, независимо от одаренности автора, будут страдать некоторой иллюстративностью. Даже такая классика, как «Путешествие из Петербурга в Москву», при всей драматичности ситуаций, вызывающих сочувствие, во многом грешит иллюстративностью.

Не думал, что на свете есть железная дорога, чья колея подходит к морской стихии ближе, чем колея дороги на Черноморском побережье Кавказа. И все-таки... мне кажется — сейчас пена прибоя, точно мыльным помазком, лизнет колеса поезда, идущего маршрутом Лос-Анджелес — Сиэтл, штат Вашингтон, что раскинулся на северо-западе страны, у тихоокеанского залива Пьюджет-Саунд... В Сиэтл мне не надо. Я высижу восемь часов этого маршрута до городка Салинос, где и встречу со своей дочерью, — так было оговорено: к самому Монтереро, где проживала Ириша с семьей, поезд не подкатывает.

Взор тянулся вдоль однообразно-спокойной спины океана, спотыкаясь о гранитные валуны, бока которых опоясывали какие-то водоросли, что колебались в накате слабого прибоя... Мне думается, в годы, когда прокладывали железную дорогу, океан не был столь опасно близок, он подкрался со временем. Или сейчас просто пора прилива, и, значит, мне повезло...

Бетонный мол серым языком лежал на поверхности воды, удерживая на самой оконечности белое строение непонятого назначения. Как такое хлипкое с виду сооружение сохраняется в шторма и ураганы, что нередко гостят в этих местах? А сама железнодорожная колея? Наверняка ее накрывает волной в непогоду. Стало быть, отменяют движение поездов? Последний ураган, которым отметила природа в этих местах конец второго тысячелетия от Рождества Христова, назвали Эль-Ниньо. Скорость ветра тогда достигала более двухсот километров в час, а дожди шли водопадом дней десять. Я в те дни с особым беспокойством вникал в телевизионные вести — в зоне Эль-Ниньо находился и Монтерей. Но все обошлось...

Подустав от Эль-Ниньо, океан отдыхал. А хилое строение на краю бетонного мола сместилось к кромке оконной рамы, выставив на обозрение новый предмет: нефтяную вышку... еще одну... а дальше — целый куст — несколько буровых вышек на общем основании. Такой привычный пейзаж для человека, окончившего Бакинский нефтяной институт. Казалось, эти тихоокеанские нефтяные вышки волшебным образом переместились из каспийской дали...

Бег океана за окном вагона замедлился. Приземистый вокзал резко белел в обрамлении пальм, азалий с яркими пятнами красных цветов и каких-то длинных, узких листьев, высоко растущих от самой земли, подобно застывшему зеленому фонтану. Санта-Барбара — часть Большого Лос-Анджелеса. Та самая Санта-Барбара, обитатели которой доводили до слез жалостливых моих российских сограждан, озабоченных судьбой героев телевизионного сериала куда больше, чем своей собственной. А возможно, моих сограждан утешало то, что «богатые тоже плачут», — как-никак равенство, все же есть на земле справедливость...

Надо, пожалуй, вдохнуть воздух Санта-Барбары, раз уж попал сюда. И я покинул отдыхающий вагон... Асфальт платформы был теплым и упругим, а грудь наполнилась прохладным

океанским воздухом. Возможно, впрочем, воздух стекал с покрытых снегом вершин Кордильер... Девчушка лет пяти шустро семенила ножками, обутыми в розовые ботиночки, то и дело приседая и с любопытством заглядывая под вагон. Следом вышагивала молодая мама, хрумкая вафельным мороженым и приглядывая за дитятей. Я прошел мимо, ритуально улыбнувшись, и... замер в изумлении.

Много что удивляло меня на этой чужбине, но увиденное, а главное, услышанное меня поразило. В стороне, у металлической ограды, кучковалась группа людей. С первого взгляда я принял их за мексиканцев или индейцев — женщины в широких пестрых юбках, с платками на плечах, с россыпью золотых безделушек на шее и руках, и дети — босоногие, неумытые. В их быстрой, крикливой беседе проскальзывали... русские слова. Ба, да это цыгане! Настоящие цыгане, что табунами шастают по Невскому проспекту, ловя за подол простак и обещая предсказать все повороты, что готовит им судьба...

На волне своего удивления я непроизвольно выпалил: «Чавелы?! Далековато вас закинуло!» Женщины едва заметили меня взглядом, не прерывая колготни, — им не в диковину встреча с россиянином на этой земле. Я смущенно переминался, чувствуя неловкость. Выручила меня пожилая цыганка, которая, отмахнувшись от подруг, шагнула ко мне со словами:

— Что, красивый, есть лишний доллар?

Я пожал плечами: деньги остались в вагоне — и слава богу, был у меня опыт общения с их сестрой, научен.

— В Ленинграде жил? Или в Москве? — участливо продолжила цыганка. — Вид у тебя больно мятый.

— В Ленинграде. А вы откуда? — встречно спросил я.

— Тоже из Ленинграда. В один с тобой ОВИР ходили. — Она смотрела на меня боком, словно большая пестрая птица.

— Неужели и здесь гадаете? — озадаченно спросил я. — И вас понимают?

— На английском и гадаем. Так лопочем, от местных не отличишь. — Женщина лукаво улыбнулась. — Где живешь, красивый, в Лос-Анджелесе? Нет? В гостях?!.. Ну как там в России люди проживают? Хорошо? Ври больше! Будто мы не знаем, как там живут. Если уж цыгане поднялись всем

табором, сюда подались — худо будет России, мы как крысы на корабле, слышал такую приметку? — Она бросила взгляд поверх моего плеча. — Беги в вагон, а то останешься в нашем таборе, как Алеко, — помнишь, у Пушкина?

— Прощай, Земфира! — Я поспешил к вагону.

Проводница, стоя у схода, терпеливо дожидалась меня и молодую мамашу, что пасла девчущку в розовых ботиночках. Мамаша никак не могла сообразить, куда деть недоеденное мороженое. Наконец пихнула его в карман куртки, подхватила малышку и шагнула к ступеньке схода... «Хорошо, что она не в штате Кентукки, — подумал я, поднимаясь следом за мамашей. — В Кентукки ее бы прижучили за мороженое в кармане...»

Вообще, некоторые законы штатов можно рассказывать, как анекдоты. Так, в Техасе запрещается разрисовывать чужих коров. А в том же Лос-Анджелесе, если муж поучает свою жену кожаным ремнем, превышающим в ширину два дюйма, то должен взять у жены письменное разрешение. А в штате Вашингтон жене законом запрещено во время танца делать более трех шагов назад. А в штате Вермонт женщины не имеют права пользоваться вставными зубными протезами без письменного согласия мужа. А в Канзасе нельзя ловить рыбу голыми руками. В Мичигане мужу принадлежат волосы жены — попробуй подстригись без разрешения. В том же Техасе нельзя ругаться рядом с трупом. В Айдахо запрещено дарить коробку конфет весом менее двадцати килограммов. Если тринадцатое число месяца выпадает на пятницу, то все черные кошки в штате Индиана обязаны носить предупреждающий колокольчик. Но самый любопытный закон — причем федеральный — гласит о том, что запрещается по почте пересылать... дома! Такой закон ввели многоумные конгрессмены после того, как какой-то тип умудрился послать почтой, как бандероль, через весь штат Юта многотонное кирпичное здание, что нарушило нормальную работу тамошних почтарей...

Каждый такой закон рождался на основании прецедента, что, кстати, является законотворческой практикой многих стран. Скажем, какой-нибудь много понимающий о себе янки, живущий в Индиане, в пятницу тринадцатого числа вышел ночью на улицу, наступил в темноте на черную кош-

ку, упал, расквасил свой англо-сакский нос и стал требовать компенсацию у мэрии — случай вносят в законодательство, и баста!

Поезд двинулся, протягивая через экран вагонного окна асфальтовую платформу Санта-Барбары, ее двухэтажный вокзал с мавританскими порталами меж белых колонн, ограду, у которой по-прежнему толковали цыганки... Позже, когда я рассказывал знакомым об этой встрече, оказывалось, что она стала неожиданностью только для меня. В Америку действительно понаехало много цыган из бывшего Союза. Цыгане жили таборами со своей властью — бароном. Иногда женщины находили работу на сельскохозяйственных ранчо, но в основном гадали и водили за нос простаков. Мужчины перепродавали золотишко ювелирам, а главное — организовали свой кар-сервис, стали таксистами. Их так и называли: «джипси-такси» — цыганское такси... Визиты цыган в пиццерии или кафе воспринимались тут как природное бедствие — цыгане вели себя, как в таборе: ели руками, плевали на пол, выбрасывали остатки пищи собакам, которые их всегда сопровождали, вызывая изумление даже у негров и пуэрториканцев, а этих ребят трудно чем-то удивить...

Эмиграция — не только физическое перемещение в пространстве, эмиграция — иное состояние души. Тяжесть эмиграции заключается в ломке душевного состояния. Но если душа привыкла к перемене мест, к постоянной кочевой жизни, то эмиграция — чистая условность. Цыгане принимают эмиграцию просто как дальний переход табора. И языковой барьер для них — не препятствие. Они как дети: язык приходит к ним с воздухом страны. Лишенные комплексов, цыгане не придают языку значения. Довольствуясь минимумом, они доводят язык до состояния какого-то образного понимания, нарушая все законы фразообразования. Язык для них не «башня», перед которой робеют эмигранты, язык для них — составляющая их мироощущения. Тем более в Америке и, особенно, в Нью-Йорке, где английский язык, под натиском эмигрантов со всего мира, нередко принимает сленговые формы.

Если озвучить цифру «20» не по правилам английской морфологии и фонетики, трудноватой для многих иностранцев, а, скажем, как певучее «твони», а вместо непроизносимой для них цифры «30» сказать «твори», то жить в эмиграции

становится уютнее. Конечно, «сие есть нонсенс», языковое трюкачество, но, тем не менее, язык, как форма общения, штука живая и подвержена всяким простудам. И может быть, существующий «американский» язык — не что иное, как английский, простуженный на эмигрантских сквозняках...

Девчушка в розовых ботиночках ходила по проходу вагона, пылливо разглядывая пассажиров. Розовый бант в белокурых тонюсеньких волосиках вызывал умиление. В кармане плаща я нащупал конфету, что положила мне в дорогу сестрица Мери, и, дождавшись, когда девчушка, кокетливо склонив головку, заглянула в пространство моего ряда, протянул ей гостинец, на обертке которого отдыхали знаменитые шишкинские медведи. Конфета была из «русского» магазина. Приняв подарок, девчушка убежала к маме, потом вернулась и протянула мне пакетик с жевательной резинкой. Проворно взобравшись на пустующее рядом кресло, она деловито развернула конфету. Вскоре я узнал, что ее зовут Лизи, ей четыре годика и едет она в Портленд, штат Орегон, к дедушке Крису... Конфета Лизи понравилась. Она отщипывала от нее небольшие кусочки и отправляла в рот, показывая маленькие зубки и не переставая рассказывать какую-то историю...

Малышка Лизи продолжала лопотать о дедушке, что жил в штате Орегон, затем перешла к дяде Филу, у которого есть большой желтый автомобиль — он развозит на нем еду для гусей и уток...

Я слушал вполуха. Поезд шел медленно, вероятно, старая колея не позволяла развивать хорошую скорость. Так же медленно вползали на поле окна контуры какого-то промышленного предприятия. Калифорния — страна весны и лета — считается не только основной фруктово-овощной плантацией Америки, но вполне может похвастаться своей промышленностью. Калифорния занимает шестое место в мире по каким-то промышленным показателям, уступая остальной Америке, Японии, Англии и еще кому-то. В Калифорнии производят военную технику, электронику, здесь разместился аэрокосмический комплекс, да и знаменитая Кремниевая долина — родина новейших компьютерных технологий — тоже находится в Калифорнии. Где, кстати, работает много специалистов, недавних граждан России, — на самых разных должностях.

Трудно угадать, какую область калифорнийской индустрии представлял завод, корпуса которого тянулись за окном вагона, но одно было ясно наверняка — владельцы не хотят связываться с природоохранным департаментом: ни одного чумазого строения, кажется, даже дым из двух башенок-труб отфильтрован, таким он вьется светлым облачным шлейфом...

За стеклом окна пробарабанила рябь конструкций моста, под которым дремала зеленеющая низина. И вновь — изумрудная скатерть необъятной степи с горным пейзажем по кромке. Потом показались какие-то темные пятна, что увеличивались в размере с приближением поезда, и вскоре пятна обрели точные контуры — стадо быков. Черные башкастые быки некоторое время взирали на поезд — и вдруг побежали, словно стая собак. Их скульптурные тонкие ноги с легкостью несли тяжелые тела...

Я обернулся, желая и малышке Лизи показать бегущее стадо черных быков. Но соседнее кресло пустовало — Лизи обидело мое невнимание. Вскоре стадо поотстало, и вновь взор охватил ровную гладь степи с идущими точно на ходулях линиями электропередач. От этого ландшафта веяло знакомым раздольем пространств, раскинувшихся за много тысяч километров от этих мест... И вновь я задался вопросом: почему так происходит, почему люди стремятся переехать сюда и вообще «на Запад»? Почему люди не эмигрируют отсюда «на Восток»? Ведь множество людей живут «на Западе» в нелегких условиях: что в Америке, что в Западной Европе, что в Израиле. И тем не менее люди рвутся туда, люди самых разных национальностей, рас и вероисповеданий. А ведь работа «на Западе» — если она есть — нередко бывает тяжелой, на разрыв.

От моего дома в Джерси-Сити лучами расходятся улицы, заселенные арабами, индусами, корейцами, филиппинцами... Так получилось. Вселилась семья, рядом другая, единокровная... Когда их становилось много, «единоверцы», разбросанные по округе, переселялись ближе к своим, так и создавался компактный социум людей, близких по истонным корням. В то же время — никакой вражды, никакой неприязни улицы к улице не замечалось. Каждый занимался своим делом: трудным, но, видимо, благодарным.

В дни праздников нарядные взрослые, нарядные дети идут в церковь, в молельные дома. В ресторанах с национальной кухней полно посетителей, приходят семьями... Почему же господь подвергает народы, живущие «на Востоке», испытаниям, и когда эти испытания закончатся?! Почему коммунистические идеи, такие гуманные в теории, становятся на практике бичом для народов?!

В России всегда было нелегко жить, но почему меня, человека, повидавшего свет, так тянет вернуться домой, в Петербург, к до боли прекрасным ландшафтам великого города? Или дышать стихией родной речи для меня так же необходимо, как дышать воздухом?! Очевидно, политические пристрастия в моем сознании менее значимы, чем пристрастия духовные, порожденные привязанностью к приметам, окружавшим меня с рождения. Нужен серьезный слом, чтобы пренебречь подобным наследием. И все-таки я не убежден, что никогда не вкушу эмигрантскую долю. Да, мне не пришлось пока при свете ночного фонарика, скрываясь, копошиться в мусорном бачке. Однако чувство униженности жизни при виде кувыркания марионеток, которые в итоге своего хитроумия, наглости и круговой поруки, из года в год, не стыдясь, остаются у власти, чувство униженности от существования под приглядом этих людей становится все более тягостным. И задаешься вопросом: «Доколе?!»

Вызывает оторопь позиция многих моих соотечественников, которые считают, что их жизнь и есть то, что принято понимать под словом «жизнь», что другой не бывает, что «другая» — это придумки всяких вражин и контры. Что надо бороться не за то, чтобы изменить свою жизнь, а за то, чтобы уничтожить «вражину и контру»... хоть при этом и приходится копать ночью в мусорном бачке. Вот что необъяснимо!

Может, это результат страха, который столетиями вбивался в головы моих соотечественников, создавая особую породу верноподданных людей, объединенных превратно истолкованным понятием «патриотизм», словом-кнутом?.. Из той же самой Америки, при ее чудовищном бюрократическом государственном аппарате, жесткой и жестокой полицейской системе, коррупции и чванстве, при столь же нагло используемом вместо кнута понятием «патриотизм», люди никуда не убегают. Почему?! Потому, что со всех сторон оке-

ан — бежать больше некуда?! Или потому, как мне однажды объяснил один американец, что «Америка, сэр, такая большая, что у каждого — своя Америка». Но Россия-то больше, куда больше! Очевидно, тут и зарыта собака. Да, Россия большая, но у каждого из живущих в России — все та же общая Россия! Надо признать, что неплохо потрудились идеологи на протяжении российской истории...

Я выбрался из кресла и направился в туалет: не мешало бы освежиться. Калифорния есть Калифорния, надо бы напомнить об этом проводнику — пусть включит кондиционер... Закрыв за собой дверь, я посмотрел в зеркало и хмыкнул. На его серебряной глади была начертана помадой свастика, которая, в свою очередь, была перечеркнута фиолетовым фломастером, а ниже, тем же фломастером, борец с фашизмом приписал: «Фак ю!», что являлось весьма популярным ругательством... Вот он — плюрализм! Воистину, Америка такая большая, что у каждого — своя Америка...

«Па-пу-ля»

Вокзал городка Салинос походил на небольшую забегаловку — ничего особенного. Впрочем, я взглянул на вокзал мельком, потому что уже отыскал взглядом свою дочь Иришу. Чертовски хороша... На семейном конкурсе красоты она занимает первое место, второе — жена Лена, третье — собачка Фленька, четвертое — я. Кроме внешних данных, учитывались такие качества, как доброта, отзывчивость, находчивость, способность постоять за себя и умение приготовить что-нибудь вкусненькое. Да, еще умение рассказывать анекдоты. Участие в конкурсе по двум последним параметрам песик

Фленька не принимал, очки ему засчитывались исключительно из-за его внешности: черный носик, рыжие гляделки, обрамленные ресничками, и миниатюрные ушки — все это завернуто в пышный рыжий комок с хвостиком, на слабеньких лапках...

— Ну?! — проговорила Ириша с грубоватой нежностью, после первых объятий и поцелуев. — Рассказывай. По порядку. Как доехал, как мама? Есть ли новые анекдоты?

Я плюхнулся на кожаное сиденье роскошного БМВ последней модели, глянцевого черной лады, насквозь компьютеризированной, с цветной «самолетной» панелью...

— И ты во всем этом разбираешься? — поинтересовался я.

— Мне и не надо, — ответила Ириша. — По-моему, тут много чепухи. Но красиво. Особенно ночью, когда включишь музыку, можно с ума сойти от автомобиля... Кстати, как твой, шустрит?

Я кивнул. Еще бы не шустрить — новый автомобиль, подарок Ириши и племянника Ленечки: они узнали, что моя колымага совсем развалилась, и прислали денег на новую машину. Очень меня их забота растрогала. Я рассказывал об этом знакомым — одни радовались вместе со мной, другие скучнели: «А мой, сукин сын, и цента на лекарства не вышлет. Мало его лупили в детстве...»

Ириша лихо вырулила на шоссе, в направлении указателя «Монтерей». Машину она вела уверенно и грациозно, я был доволен, но вида не показывал, с робостью поглядывая на многоцветное освещение панели, благо уже смеркалось...

— Начну с анекдота, — произнес я. — На Брайтоне вывесили объявление: «Лечу от всех болезней!» Подходит эмигрант и бормочет: «Лети, лети. От всех не улетишь...» Теперь твоя очередь.

Ириша оценила мой анекдот и выставила встречный:

— Приходит читатель в библиотеку. «Скажите, — спрашивает он библиотекаря, — у вас есть литература о жизни самоубийц?» — «Есть, — отвечает библиотекарь. — На второй полке, справа». Читатель отошел, но вскоре вернулся с жалобой: дескать, полка пуста. «Так ведь не сдают!» — ответил библиотекарь...

Сумерки густели, фары встречных автомобилей на параллельном шоссе наливались светом. Упругий океанский ветерок влажно обдувал лицо. Голова наполнилась блаженной ленью. Я представлял себе встречу в Салиносе более эмоциональной, а встретились, точно вчера расстались. Впрочем, мы не виделись всего лишь месяц — с тех пор, как собрались всей семьей в Нью-Йорке, по случаю моего приезда...

— Как дела, доченька? — Я прислушался к этому теплому слову, которое с годами звучит все более странно.

Я доподлинно знал: долгие паузы, которые нередко прерывали наш разговор на вечернем фривее № 101 по пути в Мон-

терей, не признак недомолвок, а отдых близких душ — такое молчание выразительнее многих слов...

— Мама по телефону сказала мне, как ты угощал ее вполне съедобными блинчиками своего изготовления, — произнесла Ириша.

— Холостяцкая жизнь в Петербурге подкинула мне новую профессию, — ответил я. — Могу приготовить борщ, еще кое-что... Кстати, анекдот. Закоренелого холостяка уговаривают жениться: «Женись! Придет час — тебе и стакан воды некому будет подать!» Женился. Пришел его час. Лежит в окружении заплаканной жены и детей и думает: «А пить-то и не хочется!»

Мы въехали в Монтерей, в городок, столь ярко описанный Джоном Стейнбеком...

В квартире все выглядело, как прежде, лишь дерево в кадке посреди гостиной поднялось выше, под самый потолок. Из глубины квартиры доносилось бряцание посуды, рокот воды, хлопки дверцы холодильника — Ириша сооружала ужин.

Балконная дверь была приоткрыта. Я постоял у проема, вдыхая свежий и резкий океанский воздух. Не впервые я в этом городке, и все равно каждый раз на душу нисходит покой и умиротворение...

Монтерей можно сравнить с Кисловодском, если поместить Кисловодск на берег тихоокеанского залива. Да в придачу подвести дикий грибной бор, который начинался почти у порога дома. Грибы — классические грибы, на толстой ножке — привели бы в трепет любого питерского грибника, но тут живут американцы, которых грибы не волнуют: зачем ходить в лес, когда любые грибы можно купить в магазине!

Если спускаться вниз с холма по тишайшей улице Хофман, то вскоре можно будет выйти на Оушен-авеню, что подобно бордюру повторяет изгиб береговой линии. Мне нравилось гулять по этому Океанскому проспекту. Почему-то он всегда малолюден. Понятное дело, монтерейцы пресытились близостью океана, а мне... Часами я мог сидеть на старой изогнутой скамье и смотреть на лежбище морских котиков, чьи туши, с раскинутыми лапами, по-хозяйски покрывали скальные камни. Они были так близко, что я мог разглядеть их черные цыганские глаза и серебристые спицы усов у лакированного носа с глубокими дырочками ноздрей. Светлобокие крупные чайки парили вблизи берега. Улавливая потоки воздуха, чайки

висели на распластанных крыльях, хищно склонив черную голову с длинным изогнутым клювом. Чайки не боялись котиков, они бродили у самого носа океанских зверюг. Помнится, одна чайка, рослая, похожая на цаплю, маршировала по спине валуна, боком поглядывая на меня. То ли ждала подношений, то ли опасалась подвоха. Я начал двигать плечами. Потом резко хлопнул ладонями. Чайка продолжала на меня зыркать. Затем направилась в сторону океана, то и дело оборачиваясь с видом: «Дурак ты, братец. И шутки твои дурацкие...»

Перпендикулярно Океанскому проспекту в залив уходил просторный мол. Вот где веселье... Магазины-бутики, кафе, рестораны, детские площадки, аттракционы, у причалов стоят многочисленные яхты — от мелкоты до огромных океанских яхт-дворцов... Параллельно молу тянется в даль залива другая достопримечательность — океанариум. Там в широченном обзорном окне — если повезет — можно увидеть «живьем» гигантских акул, тунцов, барракуд, морских черепах. Обзорное окно океанариума расположено у самой границы залива и открытого океана, на глубине...

Неподалеку от входа в океанариум, на Кеннери-роуд, в помещении бывшего консервного завода расположились торговые ряды, лавчонки, небольшие гостиницы, магазины сувениров...

Много чего можно порассказать о Монтерее, экс-столице Мексиканской Калифорнии, океанское побережье которого считается одним из живописнейших уголков мира. Но материковая часть по красоте не уступает океанской... Белый песчаный пляж Кармела уходит от океана в заповедные леса Дель-Монте, в которых, подобно оазисам, разбросаны небольшие поселения. Особенно уютен городок богемы Биг-Сер, куда можно попасть по гигантскому мосту длиной более двухсот метров, который нависает над фантастическим каньоном Биксби...

К сожалению, мне не довелось побывать в Монтерее осенью, когда там проводится Всемирный джаз-фестиваль, чести играть на котором добиваются лучшие оркестры мира. Джаз увлекал меня со школьной скамьи. Во времена моего детства считалось особым шиком выставлять себя знатоком джаза, а музыканты, которые «лабали» в оркестре бакинского порта или в Клубе железнодорожников, считались такой же

достопримечательностью города, как памятник революционеру С. М. Кирову на вершине холма городского парка. Весьма прикольно было на большой переменке между уроками придерживать одной рукой пуговицу школьного приятеля, — чтобы не убежал, — а вытянутым пальцем второй руки отсчитывать перед носом дружка такт популярной мелодии из кинофильма «Джордж из Динги-джаза». При этом следовало закатывать глаза, демонстрируя экстаз и понимание тонкостей гармонии...

В Нью-Йорке я нередко заглядывал в популярный джаз-клуб «Блюнот», в том районе Гринич-виллиджа, где было особенно тесно от геев и лесбиянок. Подъезд под огромным голубым флагом скрывал двухэтажное помещение. Любители джазового кайфа плотно сидели за столиками, угощались и слушали музыку, которую, сменяя друг друга, «лабали» на небольшой эстраде участники джаз-сейшена. На втором этаже размещался магазин. Открытки, кассеты, ноты, фотографии знаменитых «лабухов», личные вещи звезд биг-бенда... Однажды, перелистывая старый журнал, я увидел фотографию коллектива Эдди Рознера, знаменитого трубача-джазмена, выходца из польских эмигрантов, сбежавших от Гитлера в Советский Союз, — в те кровавые годы в Америку попасть было невозможно. Крайним справа стоял саксофонист Пирик Рустамбеков — идол «сдвинутых» на джазе бакинских мальчишек. Пирик и впрямь был талантливый музыкант, в те времена он уже играл приличный би-боб. Кончил Рустамбеков печально: покинув коллектив Рознера, он играл на разных площадках города, приманивая туда множество своих поклонников, пока в газете не появилась статья, где автор обвинял Пирика в увлечении «неким» Гленном Миллером, американской джазовой контрой, разлагающим сознание советской молодежи. Статья попала на глаза вождю коммунистов Азербайджана Мир-Джафару Багирову. Рустамбекова арестовали, обвинили в валютных махинациях и упрятали в тюрьму, где он и умер.

Пожинав, я перебрался в кабинет, прихватив бокал с холодным соком манго. Кабинет был «обтянут» книгами, как обоями, — под самую завязку. Казалось, что даже окно прорублено в книжной толще. Классическая русская и мировая литература. Книги по оккультным наукам, буддизму. Корешки

каких-то монографий на английском языке. Много книг в жанре фэнтэзи — этот гибрид фантастики и приземленного бытового романа стал популярен в последнее время... Но больше всего здесь было словарей: русско-английские и обратно, биологические, физические, медицинские, политические, географические, словари по бизнесу и маркетингу, по экономике и философии...

— Будем спать, — предложил я. — Еще наговоримся, я устал. А ты, как и всегда, полночи просидишь за компьютером?

— С удовольствием бы отправилась спать. Только бог так далеко развел наши страны... Сейчас собираюсь звонить в Москву, надо отправить двоих переводчиков на работу. Одного — в Тюмень, там намечены переговоры по нефти, а второго — в Мадрид, пришел контракт на перевод по банковскому делу. И с почтой надо разобраться. У меня даже в ООН было меньше работы...

Долгое время Ириша работала в Организации Объединенных Наций помощником менеджера по административным вопросам. Чем я однажды воспользовался: прошел с ней в здание ООН в будний, неэкскурсионный день, поглазеть. И раз пять был остановлен сотрудниками службы безопасности — видно, их что-то настораживало в моей внешности. Глядя на меня, секьюрити переводил взор на какую-то фотографию, что была приклеена к планшету. Мне это надоело, и я выбрался на волю — ну их к бесу, еще арестуют, видно, я кого-то им напоминал...

Другой раз Иришиным положением воспользовалась жена Лена — в первые годы ее эмиграции. Ириша тогда работала в авиакомпании TWA в бюро предварительной продажи билетов. По контракту она имела право доставить удовольствие своим родителям — показать любую страну мира, куда летают самолеты компании. Так Лена повидала Англию, Пуэрто-Рико, Гавайи. Такая вот авиакомпания! Жаль, что мне не повезло. К моему приезду Ириша перешла на работу в крупнейшую американскую компанию «Продейшен-компани», занимающуюся стаканами — ценными бумагами — и имеющую офис в огромном билдинге на Уолл-стрит...

— Иди спать, па-пу-ля, у тебя глаза слипаются. — Ириша отхлебнула кофе. — Тебе постелено наверху.

Я поставил на столик бокал с соком манго.

— Хотел тебя спросить: как Эль-Ниньо, не очень раздухарился в Монтерее?

— Очень, — ответила Ирина. — Ночью было жутковато, хотя главный ветер Монтерей обошел — как-никак залив, а не открытый океан. Но все равно. Во многих домах подвалы залило, кое-где подмыло фундаменты. Автомобили от ветра переворачивались на фривее, что уж говорить о поваленных деревьях и столбах... Залив был страшен. Горизонт казался ровным, вместо воды — сплошная белая пена. Волны шли стеной, правда, полуостров их немного гасил, но все равно. Ты пойди завтра, посмотри на следы разбойника. Если, конечно, не будет дождя, а то завтра дождь обещали.

— Сезон дождей?

— Сезон дождей... Возьми зонтик: тебя, папуля, дождем не удивишь.

— Не удивишь, — согласился я через плечо, поднимаясь на второй этаж.

В ту ночь я долго не мог уснуть. Уличный фонарь проецировал на потолке плывущие ветви деревьев и еще что-то перекрученное, с рожками на конце, напоминающее чертенка...

«Па-пу-ля»... Никто на свете, кроме Ириши, не называл меня так. Ей, взрослой женщине, самостоятельной, деловой, нравилось дурачиться, казаться ребенком, и мы с женой охотно играли в эту игру, особенно жена. Меня иногда раздражал этот лепет. Возможно, я просто отвык — слишком давно жизнь нас разлучила. Признаться, и я, поживший на свете мужчина, нередко ловил себя на том, что не прочь подурачиться. А иногда, в тиши опустевшей петербургской квартиры, я в голос звал из тишины своих давно ушедших родителей. Со стороны это сошло бы за шизофренический бред...

Вот и она: «па-пу-ля». В сущности, я для нее тоже «полуушедший», раз уж мы живем на разных континентах... Пусть подольше произносит «па-пу-ля», пусть чувствует себя ребенком так долго, как распорядится судьба. Жизнь такая хрупкая штука.

Недавно телекомпании Америки сообщили, что шестилетний черный мальчик из штата Мичиган убил белую шестилетнюю девочку Кейлу Ролланд — застрелил из пистолета, который стащил у любовника матери-наркоманки (отец мальчика

сидел в тюрьме). После злодеяния сопливый преступник побежал в школьный туалет и бросил пистолет в унитаз. Подобно взрослым из виденных им кинофильмов, он постарался избавиться от вещественной улики. Стало быть, сознавал содеянное... Один из респондентов тележурналиста, проводившего уличный опрос граждан, ответил, что он не очень удивится, если в Америке новорожденные начнут стрелять в акушерок прямо из материнского лона во время родов.

Что же, тогда впору и расовые разборки устраивать прямо в чреве матери. Так, одна женщина, назову ее Роз, что жила на Лонг-Айленде, умудрилась родить двойняшек-мальчиков: белого и черного. История потрясла мир... Этой самой Роз в гинекологической клинике привили на сохранение вместо одного эмбриона — два, из тех, что до поры держали в пробирках. Один ее собственный, от собственного мужа, второй — от незнакомой им пары по фамилии Роджер, которых судьба также занесла в эту клинику. Как произошел такой вселенский конфуз?! То ли врач был выпимши, то ли он запомнил, что одним эмбрионом он уже «заправил» Роз?!

Но по истечении срока Роз произвела на свет двух разноцветных малышей. По анализам ДНК определили, что черный малыш принадлежит Роджерам. И Роджеры затребовали своего младенца, не желая, чтобы его воспитывала белая женщина. Состоялся суд, и Роз со слезами вернула выношенное ею дитя...

Об этой удивительной истории в свое время много говорили и писали, но напомнил мне о ней Ефим Данилевский, старик из Бобруйска. Мы сидели днем на борт-воке — бульваре на дощатом подиуме, что тянулся вдоль океана, на Брайтоне. Старик смотрел на ласковый весенний океан мокрыми маленькими глазками без ресниц и, сдвинув на затылок кепчонку, перебирал на темечке остатки седых волос сухой смуглой кистью, похожей на лапку птицы. Он долго шамкал, присвистывал, прядал большими, остроконечными «мефистофелевскими» ушами, поросшими мхом, прежде чем начать фразу. Однако начав говорить, его мог заставить умолкнуть только грохот выстрела...

— Поверьте мне, — проделав весь подготовительный цикл, начал Ефим Данилевский, — история с дамой, что родила негра и белого, могла случиться только в Америке, поверьте мне.

Ни в каком Бобруйске, ни даже в Киеве, это случиться не могло, хотя там много халатностей.

— Там нет негров, — вставил я.

— Негры уже есть везде, — возразил старик Данилевский. — Дело не в них. Просто в Америке не видят человека. Смотрят и не видят. Кругом техника, машины, камптеры... Страна, где врач выслушивает больного через пальто. Вы где-нибудь видели такое? Я — нет! Пришел в доктору, хотел раздеться, он мне говорит: не надо. И начал слушать меня через пальто. Раз-два-три — все! Ровно три секунды. А поговорить?! Что вы смеетесь? Ему весело! Хм! Они все куда-то торопятся. Конечно, если бы я был богач, я выложил бы кэш, и доктор крутился бы передо мной, как в цирке-шапито. А так? Кто я? Что я? Пенсионер из Бруклина. — Ефим Данилевский перевел дух и шевельнул ушами, собираясь поведать самое сокровенное. — А... Все бы ничего, если бы они не говорили так по-английски. Конечно, я знал, что здесь говорят по-английски, но не в такой же степени! Люди их не понимают... Он смеется! Послушайте, если вам так смешно, так вы должны мне заплатить, как за комедию Утесова «Веселые ребята»...

Старик Данилевский умолк. Старик Данилевский не знал, что перефразировал немецкого поэта Гейне, — правда, поэт высказал эту мысль, имея в виду французов.

Напрасно я к ночи помянул старика из Бобруйска — разве селюсь и вовсе не усну...

Я принялся подсчитывать сигналы ревуна, чей низкий тягучий голос доносился из дали океана, — он напоминал кораблям о бдительности. Ночью этот звук казался одиноким и романтическим, точно из повести Александра Грина. Так ведь и места эти под стать его повестям — сколько лет здесь реял пиратский флаг с легкой руки «королевского флибустьера» сэра Фрэнсиса Дрейка...

И вновь внимание скользнуло в сторону, я представил, как завтра, с утра, отправлюсь вниз, по тихой улочке к океану, поброжу по бутикам и непременно куплю какой-нибудь сувенир — гигантскую раковину, из чрева которой слышен гул океана. Или оловянную фигурку пирата с кривой саблей, в широкополой шляпе и с черной повязкой на одном глазу. Отыщу знакомую изогнутую скамью, если ее не унес в пучину буян Эль-Ниньо или другой какой ураган... Поздоровуюсь

с океаном, скажу, что жив пока, что вернулся, выполнил обещание, данное год назад, когда бросал в воду серебристый квотер. Расскажу, что видел, кого встретил. Расскажу о старике с остроконечными мефистофельскими ушами, который в поисках спокойной старости добрался до этих берегов, но так и не нашел покоя. Расскажу, что более всего озадачило его на Колумбовой земле... Да, удивительная страна Америка, здесь даже нищие говорят по-английски.

Март 2000 года

Нью-Джерси — Санкт-Петербург — Нью-Джерси

Содержание

Пен-стейшен.....	4
Нью-Бронсвик, Трентон и Капитан Великих морей.....	10
Николай из Стокгольма.....	14
Эдди Уайт – парень из Южного Бронкса.....	19
Амиши и молокане.....	30
Человеку так мало надо.....	34
Бабл-гам.....	40
Саша Серебренников.....	50
Свобода... блин.....	56
Мой друг Яков.....	63
День благодарения.....	66
О, Чикаго.....	74
Фаня-американка.....	83
Борщ со слезой.....	88
Боб из штата Колорадо.....	94
Виктор Федорович – человек из Ташкента.....	106
Джейн и Джек из Аризоны.....	118
Breakfast зимой в пять утра.....	130
Сон маленького мальчика.....	141
Лос-Анджелес... начало.....	144
Сюсюка.....	147
Лос-Анджелес... продолжение.....	152
«Ахчи» из Кировакана.....	159
Лос-Анджелес... еще немного.....	169
Земфира из Санта-Барбары.....	171
«Па-пу-ля».....	179

Штемлер Илья Петрович
АМЕРИКАНСКИЙ ЭКСПРЕСС

(по мотивам повести-документа
«Breakfast зимой в пять утра»)

Ответственный редактор Светлана Волкова
Верстка Светлана Шачнева
Корректурa Ирина Первова
Обложка Кристина Ворожейкина

Настоящее издание не имеет возрастных ограничений, предусмотренных Федеральным законом РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (№ 436-ФЗ).
Охраняется законом РФ об авторском праве.

Издательство «Страта»
195112, Санкт-Петербург, Заневский пр., 65, корпус 5
Тел.: +7 (812) 320-56-50, 320-69-60
www.strata.spb.ru

Подписано в печать 10.04.2017
Тираж 1000 экз.